
ЛЕДИ АЛИСА
Тракты, Ярмарки и первые потери
КНИГА ТРЕТЬЯ
Александра Адаменко

Александра Адаменко

Леди Алиса. Тракты, ярмарки и первые потери

https://litres.ru/74735693
SelfPub; 2026

Аннотация

Я собиралась всего лишь наладить торговлю. Ну, возможно, немного расширить дело, познакомиться с новыми поставщиками и заработать денег.

Но почему-то вместо спокойного путешествия я получила караван упрямых торговцев, разбитые дороги, грязные постоялые дворы и разбойников, которые всегда знают, куда мы направляемся.

А ещё герцога Валериана.

Он говорит, что ему по пути. Я проверила карту. Ему совершенно не по пути.

Впрочем, с ним есть и определённая польза. Например, когда вокруг стреляют, а дорога внезапно заканчивается болотом, наличие рядом герцога с армейским отрядом весьма приятно.

Но я не собираюсь всю жизнь полагаться на чужую защиту. Мне нужны собственные люди, надёжное дело и возможность самой решать, куда двигаться дальше.

Впереди южная ярмарка, новые партнёры, опасные конкуренты и большой шанс изменить текстильное производство. Вот только у дороги свои планы. И иногда она забирает гораздо больше, чем деньги и товары.

Содержание

Глава 1. «Ворн, нулевая верста» 5
Глава 2. «Верста 18. Моста нет» 53
Глава 3. «Верста 40. Постоялый двор "Хромой гусь"» 98
Глава 4. «Верста 61. Ярмарка в Лисьем Броде» 133
Конец ознакомительного фрагмента. 161

Александра Адаменко
Леди Алиса. Тракты, ярмарки и первые потери

Глава 1. «Ворн, нулевая верста»

Дорожный дневник леди Алисы Лейн: «Верста нулевая. Камень у южных ворот Ворна, серый, со щербиной. Дорога отсюда идёт во все стороны сразу. Это очень удобно для того, кто ещё не решил, куда едет, и очень неудобно для того, кто уже решил».

Сундук был хороший.

Это признавали все, кто его видел, а видели его к концу марта почти все жители Ворна, потому что стоял он посреди торгового зала «Тёплого дома», прямо между прилавком и печкой, и обойти его, не заметив, было невозможно. Покупатели обходили. Замечали. Спрашивали.

— Это вы, леди, с собой повезёте? — спрашивала бабушка Грюн, остановившись над сундуком с корзинкой на локте и с тем выражением лица, с каким знающие старухи смотрят на чужое приданое.

— Это он меня повезёт, — отвечала Алиса.

Бабушка Грюн кивала, словно ничего другого и не ожида-

ла, и шла к полке с тёплыми камнями. Через час весь Ворн знал, что ведьма из «Тёплого дома» едет на юг в сундуке. К вечеру — что сундук заколдованный и сам ходит. К утру — что в нём спит герцог.

Последнее было неправдой. Герцог был на перевале, сундук не ходил, а если в нём кто и спал, то исключительно по ночам и исключительно по собственному желанию.

Сундук этот Гуннар привёз из Грантхольма за неделю до того, как сошёл снег на южной дороге. Привёз на санях — последних санях этой весны, полозья которых уже скребли по проталинам. Сундук был дубовый, окованный по углам тёмным железом, с крышкой, выпуклой, как спина у сытой кошки. Когда-то в нём хранили зимние одеяла в кладовой номер три. Потом — ничего не хранили девять лет. Потом Берта открыла его, понюхала, сказала «фу» и неделю проветривала, натирала воском и выкладывала изнутри полынью от моли.

А на дне сундука, завёрнутый в старое шерстяное одеяло, лежал камень.

Камень был невзрачный. Плоский, сероватый, с тёмным пятном копоти по одному боку и с выщербленным углом. Кто-нибудь другой, найдя такой у дороги, пнул бы его в канаву. Но Гуннар вынимал его из старой печи на грантхольмской кухне полдня, по одному кирпичу разбирая подпечье и ругаясь так, что Берта уводила Эльке во двор, а потом заложил дыру новым кирпичом и замазал глиной. Этот камень

лежал под печью с тех пор, как дом стоял. На нём, как на ладони, сто лет стояло всё грантхольмское тепло.

— Подпечник, — сказал тогда Гуннар, вручая камень Алисе обеими руками, точнее, одной рукой и культёй, как он умел. — Бабка моя говорила: домовой под печью живёт. Если переезжаешь — бери камень из-под печи. Без камня он не поедет.

— Он и с камнем не поедет, — сказала Алиса. — Он поедет только через свой труп.

— В сундуке, — поправил из-под прилавка Клом.

Так и решилось.

Теперь сундук стоял посреди лавки, и Клом его обживал.

Обживание у кладовика оказалось делом серьёзным, долгим и шумным. Первые два дня он просто сидел внутри с закрытой крышкой и, как он выразился, «привыкал к воздуху». Из сундука доносилось сопение, шуршание и иногда — тихое, задумчивое бормотание, в котором Алиса разбирала только отдельные слова: «сыровато», «углы», «дует», «надо бы».

На третий день Клом вылез, потребовал гвоздей, кусок войлока, кусок кожи, моток бечёвки, две свечи, огарок сургуча и молоток.

— Молоток вам зачем? — спросила Алиса.

— Хозяйство, — ответил Клом с таким достоинством, что спрашивать дальше стало неловко.

К пятому дню в сундуке появились полки. Узкие, криво-

ватые, сделанные из дощечек от разобранного ящика из-под мыла, они шли вдоль стенок в два яруса, и на них уже стояли: оловянная кружечка (личная), клубок шерсти (запасной), три книжечки учёта в кожаных переплётах, пузырёк чернил, заткнутый воском, грифель в футляре, пустая коробочка из-под леденцов (для «мелкой наличности»), огрызок зеркальца, синяя жилетка с белыми домиками (выходная), а также — на почётном месте, на верхней полке, прикрученный бечёвкой, чтобы не упал в дороге, — маленький, с ладонь, портрет. Портрет нарисовала Матильда углём на обрывке бумаги. Изображён был Грантхольм: дом на холме, озеро, дым из трубы. Похоже было не очень. Клом сказал, что похоже ужасно, и прикрутил портрет бечёвкой в четыре оборота.

Подпечник лежал на дне. На нём — Бертино одеяло. На одеяле — Клом.

— Удобно? — спросила Алиса на шестой день, заглядывая в сундук.

Клом лежал на спине, сложив цепкие ручки на животе, и смотрел в выпуклую крышку, которую изнутри обили войлоком.

— Терпимо, — сказал он. — Дома лучше.

— Дома всегда лучше.

— Дома — да. — Он помолчал. — Хозяйка. А вы точно знаете, что надо ехать?

Алиса присела на корточки у сундука. За окном капало,

звенело, журчало — Ворн оттаивал, весь разом, всеми крышами и водостоками, и по Кожевенной улице бежали ручьи, такие быстрые и весёлые, что мальчишки Флинта пускали по ним щепки наперегонки. С улицы пахло мокрым деревом, навозом и чем-то неуловимо зелёным — тем, чем пахнет в апреле земля, когда ещё ничего не выросло, но уже собирается.

— Не знаю, — честно сказала Алиса. — Знаю, что если не поехать, то через полгода тонкая шерсть будет стоить впятеро. Лён — впятеро. Песок для Олдоса — его просто не будет, потому что весь берег Белой реки скупит человек с овечьей головой на печати. А если у Олдоса не будет песка, у него не будет стекла. А если у него не будет стекла...

— У нас не будет окон, — сказал Клом. — Знаю. Записывал.

— Окна у нас уже есть.

— У нас есть, — сказал Клом. — У других нет.

Алиса посмотрела на него. Он смотрел в крышку.

Иногда — не очень часто, раз в месяц или реже — Клом говорил вещи, после которых ей хотелось сесть и помолчать. Это была одна из них.

— Вот поэтому и надо ехать, — сказала она наконец.

— Понял, — сказал Клом. — Записываю. Дорога: надо. — И, помолчав, добавил куда-то в войлок: — Но дома лучше.

Список того, что нужно взять с собой, Алиса начала пи-

сать в середине марта и не закончила до сих пор.

Список был длинный. Он занимал четыре листа с обеих сторон, и каждый раз, когда Алиса думала, что всё, наконец, учтено, обнаруживалась какая-нибудь мелочь вроде иголок, без которых в дороге никак, или соли, без которой никак тем более, или — это обнаружила Матильда — запасного чепца, потому что «леди, вы же не можете на ярмарку в Вейльбург в том чепце, в котором вы варите мыло».

— Почему не могу?

— Потому что он коричневый.

— Он был белый.

— Он был белый, леди, — согласилась Матильда с бесконечным терпением, — в прошлом году.

Чепец вписали.

Список составлялся по старой, ещё оттуда, привычке — по пунктам, с подпунктами, с галочками на полях. Там, в Твери, Алевтина Сергеевна Смирнова ездила на ярмарки мастеров раз пять в год, и у неё был свой список, отточенный годами и распечатанный на принтере: стол складной, скатерть, ценники, сдача мелочью, термос, влажные салфетки, удлинитель, запасные батарейки для кассы. Здесь не было ни принтера, ни удлинителя, ни батареек, но дух списка остался тот же. Дух списка, как уже поняла Алиса, вообще не зависел от мира. Списки в любом мире пишутся одинаково и одинаково никогда не бывают закончены.

Пункт первый: товар.

Товара было много. Мыло «Северное лесное» — четыреста брусков в соломе, по сорок в ящике. Мыло с розой — сто. Мазь от обморожений — двести баночек, хотя на юге, как ехидно заметил Клом, обмораживаться будет нечем, разве что о холодный взгляд его светлости. Бальзам «Медовые губки» — сто. Тёплых камней не брали: на юге апрель, там тепло и без них. Зато брали щёлок в глиняных корчагах, золу, жир налима в двух бочонках, можжевеловые ягоды, живицу — всё для того, чтобы варить на месте, если понадобится. А понадобится, сказала Алиса, наверняка. Она не очень представляла, что будет делать в Вейльбурге, — но знала по опыту, что на ярмарке выигрывает не тот, кто привёз больше товара, а тот, кто может что-то сделать прямо там, на глазах у толпы.

Пункт второй: деньги.

С деньгами всё было сложнее. Денег было сто сорок крон — всё, что «Тёплый дом» заработал за зиму на гарнизонном подряде, плюс то, что Дросс, бывший глава Гильдии, а ныне просто старый богатый человек с внуком, дал в долг под честное слово и без процентов. «Долг — это когда отдают, — сказал Дросс, вручая Алисе тяжёлый кожаный мешочек. — А вы отдадите. Я теперь в людях разбираюсь. Поздно, но разбираюсь». Сто сорок крон было очень много для Ворна и совсем немного для ярмарки в Вейльбурге, где, как говорили, суконщики покупали шерсть сразу целыми стадами, ещё нестриженными.

Клом пересчитал деньги одиннадцать раз. Разложил на четыре кучки. Одну кучку зашил Алисе в подол дорожного платья. Вторую — в подкладку плаща. Третью положил в сундук, под подпечник. Четвёртую — в коробочку из-под леденцов.

— А почему не в одном месте? — спросила Матильда.

— Потому что дорога, — сказал Клом. — Дорога всегда берёт. Это закон. Мой дед возил хозяйство из Старого дома в Грантхольм. Сорок вёрст. Двести лет назад. Взял с собой четыре мешка. Довёз один.

— А остальные?

— Дорога взяла.

— Разбойники?

— Хуже. Дорога. — Клом пожевал губами. — Один мешок упал в реку. Один забыли на постоялом дворе. Один съела коза.

— Мешок?

— Мешок с овсом. Мешок, овёс — всё съела. Коза была злая. — Клом помолчал. — Деда моего тоже чуть не съела.

После этого Матильда два дня смотрела на всех коз Ворна с подозрением.

Пункт третий: люди.

Тут список обрывался. Тут стоял знак вопроса, жирный, обведённый в кружок, и под ним мелко, Алисиным почерком, было приписано: «Караванщик. Охрана. Повар. Возчики. Кто???».

Гуннар ехал, это было решено. Решено было само собой, без обсуждения, ещё в ту ночь, когда Валериан положил на стол список Вельта и пальцем показал на строчку про Вейльбург. Гуннар тогда посмотрел на Алису, на герцога, на список, сказал «я с ней» и пошёл чистить свой старый армейский меч. Меч он держал в правой руке. Левой у него не было почти до локтя — её забрал горный перевал одиннадцать лет назад, — но Алиса ещё ни разу не видела, чтобы Гуннару это хоть в чём-то мешало.

Но Гуннар был один. А дорога до Вейльбурга — двести двадцать четыре версты, через пустые земли, через перевал, через болота, через места, о которых даже в Ворне говорили неохотно и со сплёвыванием через левое плечо.

— Одним Гуннаром не обойдёшься, — сказал Дросс, когда Алиса пришла к нему в гильдейский дом за советом. Дросс теперь не был главой гильдии, но в гильдейском доме сидел по-прежнему, в своём кресле у камина, — потому что гильдия так и не выбрала нового главу и, кажется, не очень торопилась. — Вам нужен караван. Настоящий. С караванщиком, который знает дорогу. Одна вы не поедете — то есть поедете, конечно, я вас знаю, но доедете вряд ли.

— И где мне взять такого караванщика?

Дросс почесал белую бороду. Бороду он больше не расчёсывал лопатой, и без перстней его руки казались голыми и какими-то беззащитными.

— Есть один, — сказал он неохотно. — Бреннер. Йост

Бреннер. Водит обозы на юг тридцать лет. Знает каждую яму на дороге и каждого трактирщика по имени. Честный.

— Это хорошо.

— Это хорошо, — согласился Дросс, — но это не всё. Он вас не возьмёт.

— Почему?

Дросс посмотрел на неё долгим взглядом, в котором была отчётливая жалость.

— Потому что вы женщина, леди. И потому что вы — та самая женщина. Бреннер не любит женщин в караване. И очень не любит ведьм. И совсем, совсем не любит, когда в его караване едет что-то, о чём потом рассказывают в трактирах.

— Обо мне расскажут в трактирах?

— Леди, — сказал Дросс с нежностью, — о вас уже рассказывают в трактирах. От Ворна до Хаммерталя. Говорят, вы зарезали Хольта ножом для масла, отравили колодцы, вылечили мор, приручили тёмного герцога и держите в сундуке беса.

— Беса? — оскорблённо раздалось из-под Алисиного плаща.

Алиса откашлялась.

— Кладовика, — сказала она. — Не беса. И я никого не зарезала.

— Так я и говорю, — сказал Дросс. — Бреннер вас не возьмёт.

Алиса поблагодарила, вышла, постояла на крыльце гиль-

дейского дома, глядя на мокрую площадь, на голубей у фонтана, на мальчишку, который тащил куда-то упирающегося поросёнка, и решила, что Бреннер её возьмёт.

Она пока не знала как. Но с этим, как она давно поняла, можно было разобраться по ходу.

Йост Бреннер держал двор на Возчичьей улице, у самых южных ворот, там, где Ворн кончался и начиналась дорога.

Двор был большой, грязный и деловитый. Пахло конским навозом, дёгтем, мокрой соломой и табаком. Посреди двора стояли телеги — шесть больших, крытых просмолённой парусиной, на высоких колёсах, окованных железом. Возле них возились люди: кто-то смазывал оси, кто-то перебирал сбрую, кто-то просто сидел на оглобле и курил, глядя в небо. Из конюшни доносилось фырканье и топот. Где-то лаяла собака — басовито, лениво, по обязанности.

Бреннер сидел на крыльце конторы, маленькой бревенчатой избушки в углу двора, и курил трубку.

Он был немолод — за шестьдесят, это было видно сразу, — коренаст и кривоног, как всякий, кто полжизни провёл в седле, а вторую половину — на облучке. Седые волосы были острижены коротко, почти под корень. Седые брови — наоборот, отпущены на волю и торчали над глазами двумя кустами. Лицо загорелое до черноты, задубевшее, в глубоких морщинах, как старая сбруя. Одет он был в кожаную куртку, сто раз чиненную, и в такие же сапоги. На поясе висел нож

— без украшений, длинный, в деревянных ножнах. Трубка была глиняная, короткая, обкуренная до коричневого цвета.

Он посмотрел, как Алиса входит в ворота. Посмотрел, как она обходит лужу. Посмотрел, как идёт к крыльцу. И когда она остановилась перед ним, вынул трубку изо рта и сказал:

— Нет.

— Я ещё ничего не спросила, — сказала Алиса.

— А я уже ответил. — Бреннер снова сунул трубку в рот. — Экономит время.

— Вам — да. А мне?

Бреннер поднял на неё глаза. Глаза у него оказались неожиданные — светлые, почти прозрачные, цвета разбавленного пива, — и очень внимательные.

— Вам, леди, — сказал он, — я сэкономлю больше. Я вам сэкономлю двадцать дней дороги, двести вёрст тряски, три перевала, одно болото и, может статься, вашу голову. Езжайте домой. Варите мыло. Хорошее, говорят, мыло. Жена моя хвалит.

— Ваша жена пользуется моим мылом?

— С розой, — сказал Бреннер мрачно. — Три бруска за зиму. По шесть грошей. Я считал.

— Значит, вы мне уже должны, — сказала Алиса.

Бреннер поперхнулся дымом.

— Это с чего?

— С того, что жена у вас довольна. А довольная жена — это, мастер Бреннер, бесценно. Я это знаю совершенно точ-

но, потому что в Ворне ко мне каждый день приходят мужья недовольных жён и спрашивают, нет ли у меня чего-нибудь, от чего жена станет довольной. Я продаю им мыло с розой по шесть грошей. Вы купили три бруска. Вам повезло. Многим приходится покупать десять.

Кто-то у телег громко хрюкнул и тут же сделал вид, что закашлялся.

Бреннер медленно вынул трубку изо рта.

— Леди, — сказал он, — вы мне зубы не заговаривайте. Я караванщик. Тридцать один год вожу обозы. Знаете, сколько я видел таких, как вы?

— Сколько?

— Ни одного, — сказал Бреннер. — И не хочу. Баба в караване — это беда. Это не я придумал, это все знают. Баба в караване — то колесо отлетит, то лошадь захромает, то возчики передерутся. А уж ведьма в караване...

— Я не ведьма.

— А что у вас в сундуке?

Алиса помолчала.

— Бухгалтер, — сказала она.

Бреннер посмотрел на неё. Потом на ворота. Потом снова на неё.

— Нет, — повторил он. — Извините, леди. Нет. Найдите себе другого.

— Другого нет.

— Есть Шульц, — сказал Бреннер. — Шульц возит на юг

соль.

— Шульц пьёт, — сказала Алиса. — Я узнавала. Последний раз, когда он возил соль, он доехал до Хаммерталя на две недели позже и без двух телег. Телеги он, кажется, пропил. Есть ещё Ланге — Ланге не возит дальше Лисьего Брода. Есть братья Вагнеры, но они возят только лес и только по реке. Есть вы. Я спрашивала у шести человек. Все шестеро сказали: «Бреннер». Все шестеро сказали: «Он вас не возьмёт».

— Умные люди, — одобрил Бреннер.

— Умные, — согласилась Алиса. — Поэтому я пришла.

Она развязала тесёмки на папке, которую держала под мышкой, и достала оттуда лист.

— Что это? — подозрительно спросил Бреннер.

— Смета, — сказала Алиса. — Дорога туда — двадцать дней, если по погоде. Дорога обратно — восемнадцать, потому что телеги будут тяжелее, но лошади отдохнут в Вейльбурге. Восемь телег: ваши шесть и две мои. Корм для лошадей. Плата возчикам. Еда. Ночлег на постоялых дворах там, где они есть, и под открытым небом там, где их нет. Пошлины на мостах. Ваша доля.

Бреннер не взял лист.

— Какая доля?

— Десятая часть от того, что я продам в Вейльбурге, — сказала Алиса. — Плюс плата за перевозку, обычная, как у всех. Плюс двадцать крон сверху — за то, что вы терпите

бабу в караване.

Возчики у телег перестали делать вид, что работают.

Бреннер медленно протянул руку и взял лист. Посмотрел на него. Посмотрел внимательно — сверху вниз, строчка за строчкой. Алиса ждала. Она знала, что смета хорошая: она составила её вместе с Кломом, и они спорили над ней три вечера подряд, и дважды Клом обиженно уходил в сундук и не разговаривал с ней до утра, потому что она закладывала «лишние» деньги на «непредвиденное», а он считал, что непредвиденного не бывает, бывают плохо составленные сметы.

— Пошлина на Лиарском мосту, — сказал Бреннер, не поднимая глаз. — У вас — грош с колеса.

— Да.

— Два гроша.

— С прошлого года один, — сказала Алиса. — Бургомистр Штольц отменил вторую пошлину, когда в Ворне был мор. Сказал, нечего драть с людей, которые везут в город еду. Это записано в постановлении совета от двенадцатого февраля.

Бреннер поднял глаза.

— Это вы откуда знаете?

— Я была на том совете, — сказала Алиса. — Я, собственно, и предложила.

Бреннер долго смотрел на неё. Потом снова на лист.

— Постоялый двор «Хромой гусь», — сказал он. — У вас

ночлег — восемь грошей.

— Да.

— Там клопы.

— Я знаю. Поэтому ночлег — восемь грошей, а не двенадцать. За клопов скидка.

Кто-то у телег уже откровенно засмеялся.

Бреннер свернул лист вдвое. Потом вчетверо. Сунул за пазуху. Затянулся трубкой. Выпустил дым — длинной синей струйкой, вверх, в мокрое апрельское небо.

— Сундук, — сказал он. — Что в сундуке на самом деле?

— Бухгалтер, — повторила Алиса. — Кладовик. Домовой дух хозяйства. Он едет со мной, потому что без меня не может, а я без него не могу. Он будет считать деньги, проверять счета на постоялых дворах и ругать меня за каждый лишний грош. Вас он тоже будет ругать. Он ругает всех.

— И в трактирах про это будут рассказывать.

— Будут, — сказала Алиса. — А ещё будут рассказывать, что Бреннер довёз ведьму до Вейльбурга и обратно. Целой. С бесом. С товаром. С прибылью. Вы как думаете, мастер Бреннер, после такого вам будет легче или труднее находить заказчиков?

Бреннер ничего не ответил.

Он сидел на крыльце, курил трубку и смотрел на свои телеги. Долго. Возчики ждали. Собака перестала лаять. Даже лошади в конюшне, кажется, притихли.

Наконец Бреннер вынул трубку изо рта, постучал ею о

край ступеньки, вытряхивая пепел, и встал. Встав, он оказался ниже Алисы на полголовы, но почему-то это не имело никакого значения.

— Десятая часть, — сказал он. — Плата за перевозку. Двадцать крон. И одно условие.

— Какое?

— В дороге командую я. Не вы, не ваш однорукий, не ваш бес из сундука. Я. Скажу стоять — стоим. Скажу ехать — едем. Скажу «в канаву» — все в канаву, и вы первая. Без разговоров. Без «но». Без смет.

Алиса подумала.

— А если вы будете неправы?

— Я тридцать один год вожу обозы, леди. Я бываю неправ. Но в дороге неправый командир лучше, чем два правых. Это вы запомните. Вам это ещё пригодится.

Алиса подумала ещё немного.

— Договорились, — сказала она и протянула руку.

Бреннер посмотрел на руку. Подумал. Пожал — жёстко, быстро, ладонью, твёрдой, как оглобля.

— Выезжаем третьего, — сказал он. — На рассвете. Опоздаете — уедем без вас.

— Не опоздаю.

— Все так говорят, — сказал Бреннер, отворачиваясь. — Эй! Тим! Хватит ворон считать! Ось сама себя не смажет!

От дальней телеги отделилась долговязая фигура, торопливо подхватила ведро с дёгтем и нырнула под колесо.

Мелькнул рыжеватый вихор, тощая шея, веснушки.

Алиса посмотрела на вихор. Вихор показался ей знакомым.

— Это Тим Кох? — спросила она.

Бреннер обернулся.

— Знаете его?

— Знаю его мать, — сказала Алиса. — И брата. Пауля. Ему шесть. Он болел в мор.

Бреннер помолчал.

— Тим пришёл ко мне в марте, — сказал он неохотно. — Просился в возчики. Сказал, денег надо. Сказал, мать одна, брат малой, отца нет. Я его взял. Он с лошадьми хорошо. Лучше, чем с людьми. — Бреннер снова помолчал. — Он сказал, что на юге заработает себе на лошадь. Своя лошадь — это, говорит, всё. Со своей лошадью, говорит, можно куда хочешь.

Из-под колеса донеслось сосредоточенное сопение и какое-то неразборчивое пение — тихое, без слов, под нос.

— Можно, — сказала Алиса. — Со своей лошадью можно куда хочешь.

— Только не в Вейльбург, — проворчал Бреннер. — В Вейльбург лучше с моей.

Он ушёл к конюшне, тяжело, вразвалку, кривоногий и седой. А Алиса ещё немного постояла посреди двора, слушая, как из-под колеса доносится тихое, без слов, пение.

* * *

Повар нашёлся сам.

Это было удивительно, потому что повара Алиса искала дольше всех. Бреннер своего повара имел — старого Ганса Ворчуна, который ходил с ним в обозы двадцать лет и варил, по общему мнению, похлёбку, способную поднять мёртвого, — но за неделю до отъезда Ганс Ворчун поскользнулся на обледеневшем крыльце собственного дома и сломал ногу в двух местах.

— Неделя! — ревел Бреннер у себя во дворе так, что слышно было на Возчичьей улице. — Неделя до выезда! А он ногу! В двух местах! Я ему говорил — посыпь крыльцо золой! Говорил!

— Говорили, — соглашались возчики.

— Двадцать лет говорил!

— Двадцать, — соглашались возчики.

Вопрос стоял остро. Восемь телег, двенадцать возчиков, Алиса, Гуннар — четырнадцать человек на двадцать дней дороги. Кто-то должен был варить. Возчики могли, конечно, но варили, по словам Бреннера, «так, что лошади плачут».

Алиса предложила варить сама. Бреннер посмотрел на неё так, что больше она не предлагала.

И вот тут, за три дня до отъезда, к Бреннеру на двор пришёл человек.

Человек был средних лет, среднего роста, в чистом, но поношенном кафтане, с узелком за плечами. Лицо у него было круглое, приятное, с ямочками на щеках, волосы свет-

лые, редкие, гладко зачёсанные назад. Глаза — карие, тёплые, немного усталые. Он снял шапку, поклонился Бреннеру, поклонился Алисе, которая как раз была на дворе — привезла первые ящики с мылом, — и сказал, что слышал, будто мастеру Бреннеру нужен повар.

— Нужен, — сказал Бреннер, оглядывая его с головы до ног. — Ты кто?

— Феб, мастер. Феб Ленц. — Человек снова поклонился. — Повар. Двенадцать лет у господ в Хаммертале служил, потом в Ворне — в «Серебряном мосту», на набережной. Сейчас без места. «Серебряный мост» новый хозяин купил, своих людей привёл.

— «Серебряный мост», значит, — сказал Бреннер. — А в обозах ходил?

— Ходил, мастер. Дважды. До Хаммерталя и обратно. Давно, правда. В молодости.

— Что варишь?

Феб улыбнулся — тепло, с ямочками.

— Что дадите, мастер. А если ничего не дадите — то из ничего.

Бреннер хмыкнул.

— Из ничего — это я сам умею, — сказал он. — Вон котёл. Вон крупа. Вон сало. Вон лук. Свари. Через час попробую. Понравится — возьму. Не понравится — иди обратно в свой «Серебряный мост».

Феб поклонился в третий раз, снял кафтан, засучил рука-

ва и пошёл к котлу.

Через час весь двор Бреннера стоял вокруг котла с ложками.

Похлёбка была — Алиса потом долго не могла подобрать слова — честная. Простая, из простой крупы, с простым салом и простым луком, но лук был поджарен до золотистости, а сало вытоплено так, что шкварки хрустели, а крупа разварилась ровно настолько, насколько нужно, ни больше ни меньше, и откуда-то там взялась ещё какая-то травка — щепоть, не больше, — от которой похлёбка пахла летом.

— Чабрец, — сказал Феб, когда его спросили. — Свой. Сушёный. Я его всегда с собой ношу. Без чабреца — какая похлёбка?

Бреннер съел две миски. Молча. Облизал ложку. Посмотрел на Феба.

— Пять марок в месяц, — сказал он. — Харчи свои. Спишь в обозе.

— Шесть, мастер, — мягко сказал Феб. — Я с чабрецом.

Бреннер посмотрел на него, на котёл, на возчиков, вылизывающих миски.

— Шесть, — сказал он. — Чтоб тебя.

Алиса тоже съела миску. Похлёбка была действительно очень хорошая. Она подумала, что им повезло, и подумала ещё, что за последний год ей везло редко и как-то всё время не там, где надо, — а тут вдруг повезло. Повар сам пришёл. С чабрецом.

Мысль эта была мимолётная. Она подумала её и забыла.

Позже — много позже — она вспомнит эту мысль. И эту похлёбку. И ямочки на щеках. И будет долго сидеть у костра, глядя в огонь, и думать, что везение, которое приходит само, нужно проверять так же, как воду из незнакомого колодца. Потому что и то и другое бывает чистым. А бывает — нет.

Но это будет потом. А пока была похлёбка. И весна. И третье апреля, до которого оставалось три дня.

Последние три дня Ворн провожал её так, как умел только Ворн: шумно, назойливо, с пирогами и непрошеными советами.

Пироги несла Хильда Мельц. Хильда, у которой в прошлом году Алиса выкупила лоток, а потом отбила у Дросса, а потом вместе с которой три недели таскала ведра с кипятком в Нижний квартал, теперь заходила в «Тёплый дом» каждое утро, как к себе, ставила на прилавок корзину и говорила: «Это вам на дорогу». На дорогу у Алисы накопилось уже четыре корзины. Пироги с капустой, с яйцом, с луком, с мясом, с рыбой, с вареньем и с чем-то, о чём Хильда загадочно говорила «секрет» и что на вкус было похоже на морковь с изюмом.

— Хильда, я столько не съем.

— Съедите, — уверенно говорила Хильда. — Дорога — она едучая. Это все знают.

Советы несли все остальные.

Бабушка Грюн советовала никогда не пить воду из колодца, у которого не растёт трава. Сапожник Иеремия Ланг — никогда не покупать сапоги на ярмарке, потому что на ярмарке все сапоги на одну колодку, а ноги у людей разные. Мясник Мюллер, извинявшийся теперь перед Алисой при каждой встрече, хотя с погрома прошло два месяца, советовал брать с собой топор — «не для чего, а просто чтоб был». Его сын Курт, бывший задира, а ныне главный поставщик налимьего жира от старого Ханнеса, советовал ничего не советовать, потому что «леди и так всё знает». Кожевник Хуго Кайзер ничего не советовал, но принёс пару отличных кожаных рукавиц, которые сшил сам, и смущённо сказал, что это для работы.

Олдос Фенн пришёл в последний вечер.

Старик стекольщик пришёл, как всегда, без предупреждения, в своём балахоне с пришитыми к нему цветными стёклышками, с седыми волосами, торчащими во все стороны одуванчиком, и с ящичком под мышкой. Ящичек он поставил на прилавок так осторожно, как будто в нём лежали яйца.

— Это вам, — сказал он. — В дорогу.

Алиса открыла ящичек. Внутри, на подстилке из мягкой шерсти, лежала линза — круглая, в медной оправе, с костяной ручкой. Рядом — несколько квадратных стёклышек, совсем прозрачных, тонких, как ледок на луже. И маленький мешочек из белого полотна.

— Линза — пробирная, — объяснил Олдос. Голос у него дрожал, но не от старости. Олдос всегда так говорил, когда речь заходила о стекле. — Не такая, как та, для водяных зверюшек. Слабее. Но вам хватит. Насыпаете песок на стёклышко — тонким слоем, вот так, — смотрите. Хороший песок — как сахар. Белый, ровный, зёрнышко к зёрнышку. Ни ржавчинки. Ни крапинки. Ржавчина — это железо, а железо делает стекло зелёным. Как у нас в окнах. — Он кивнул на окна «Тёплого дома», мутноватые, зеленоватые, хаммертальские. — Если в песке будут чёрные точки — это слюда, плохо. Красные — железо, очень плохо. Жёлтые — глина, ничего, отмоем. А если белый, как сахар, как снег, как... как...

Он не нашёл слова, махнул рукой.

— А в мешочке что?

— Образец, — сказал Олдос. — Тот песок, которым я сорок лет назад сварил своё стекло. Последняя горсть. Я его хранил. Сравните. Если найдёте такой же — значит, я тогда не сошёл с ума. Значит, это был не случай. Значит, можно ещё раз.

Алиса взяла мешочек. Он был лёгкий, почти невесомый.

— Мастер Олдос, — сказала она. — Может, вам поехать со мной? Вы же лучше знаете. Вы сами посмотрите...

Олдос покачал головой.

— Мне шестьдесят четыре, леди, — сказал он. — У меня колени скрипят, как телега Бреннера. Двадцать дней тряски я не переживу. А если переживу — буду всю дорогу ныть,

и вы меня бросите в болоте. — Он улыбнулся, и морщины разбежались по его лицу, как трещинки по старому стеклу. — Нет. Я буду здесь. Буду строить печь. Новую. Гуннар с ребятами обещали помочь кирпичом. Я построю печь, а вы привезёте песок. И мы посмотрим.

— Посмотрим, — сказала Алиса.

— Сорок лет, — сказал Олдос тихо, глядя на мешочек в её руке. — Я ждал сорок лет. Подожду ещё месяц.

Он ушёл, не прощаясь, — Олдос никогда не прощался, он просто поворачивался и уходил, как будто разговор продолжался и он лишь вышел на минутку. А Алиса ещё долго держала в руке белый мешочек с последней горстью песка, которая сорок лет назад была стеклом. Прозрачным. Как вода. Как воздух. Как ледок на луже.

Потом она положила мешочек в сундук, на верхнюю полку, рядом с портретом Грантхольма.

Клом посмотрел на мешочек. Потом на неё. Ничего не сказал. Только поправил мешочек, чтобы лежал ровнее.

С Матильдой они прощались всю последнюю ночь.

Не то чтобы прощались — скорее, Матильда задавала вопросы, а Алиса отвечала, и вопросы не кончались, потому что Матильде было семнадцать и она впервые оставалась одна во главе целой лавки, с гарнизонным подрядом, с двумя подмастерьями — Вета приходила теперь каждый день и, кажется, собиралась остаться навсегда, а Курт Мюллер помо-

гал с жиром и котлами, — с бабушкой Грюн и её ведомостью сплетен, с Хильдой и пирогами, с капитаном Лорном, который заходил «просто так» по три раза в день, и с целым городом, который теперь считал «Тёплый дом» своим.

— А если гарнизон захочет больше мыла?

— Сварите больше.

— А если не хватит жира?

— Курт достанет у Ханнеса.

— А если Ханнес не даст?

— Даст. Отнесите ему мыла для внучки.

— А если придёт кто-то из гильдии и скажет...

— Тильда, — сказала Алиса. — У нас патент. Бессрочный. Без взносов. С печатью совета. Пусть говорят что хотят.

— А если...

— Тильда.

Матильда замолчала. Она сидела на своей кровати, наверху, в маленькой каморке над торговым залом, обхватив колени руками, в ночной рубашке, с рыжей косой через плечо. Она была очень похожа сейчас на ту девочку, которую Алиса в первый день в Грантхольме застала плачущей над корытом с серым бельём. Только ту девочку пугали всё. А эту — только одно.

— Я не справлюсь, — сказала Матильда шёпотом.

Алиса села рядом. Кровать скрипнула.

— Справишься.

— Вы не знаете.

— Знаю, — сказала Алиса. — Ты придумала «Северное лесное». Ты держала тепло вместе со мной над Тобиасом Дроссом. Ты нарисовала вывеску, которую весь Ворн знает. Ты видишь на мыле то, чего не вижу я. Ты справишься лучше меня, Тильда. Я, честно говоря, немного боюсь, что ты тут без меня так справишься, что я вернусь — а меня уже и не надо.

Матильда хлюпнула носом.

— Надо, — сказала она. — Всегда надо.

— Ну вот. Значит, договорились.

— Леди, — сказала Матильда, помолчав. — А вы будете писать?

— Буду.

— Каждую неделю?

— Если будет с кем передать. Дорога, Тильда. Там почты нет. Но в Лисьем Броде есть — я передам с первым обозом на север. И в Вейльбурге есть. И ты пиши. Пиши всё. Как мне Валериан... — она запнулась, — как его светлость говорил. «Я лучше буду злиться, чем не знать».

Матильда посмотрела на неё. Посмотрела внимательно — так, как смотрела на мыло, когда видела в нём то, чего не видел никто.

— А его светлость знает, что вы едете?

— Знает.

— А он что сказал?

Алиса помолчала.

Валериан сказал — если быть точной — четыре слова. Четыре слова в последнем письме, пришедшем с перевала три недели назад. Письмо было в восемь строк, что для него означало почти роман, и семь из этих строк были о делах: о Вельте, о шифрованных письмах, которые он отправил в Солмар к «человеку с ключом», о суде над Хольтом, Брюном, Шайбом и рыжим Ульфом, который должен был начаться в столице в середине апреля и на котором он, герцог фон Грант, обязан был присутствовать лично, потому что обвиняемые — его люди, его земля, его дело. Он писал, что выезжает с перевала в начале апреля, заберёт арестованных из Ворна и повезёт их на юг, в Солмар, по Большому Королевскому тракту. Что это займёт месяц. Что он вернётся к лету.

А восьмая строка была такая: «Вейльбург — не езжайте одна».

Четыре слова.

Алиса перечитала их тогда раз двадцать. Клом считал. Двадцать три.

— Он сказал, чтобы я ехала не одна, — сказала Алиса. — Я и не одна. Со мной Гуннар. И Бреннер. И двенадцать возчиков. И повар с чабрецом. И Клом.

— Клом в сундуке, — заметила Матильда.

— Клом в сундуке, — согласилась Алиса. — Но это не значит, что его нет.

Матильда улыбнулась — первый раз за весь вечер. Потом вдруг обняла Алису — порывисто, крепко, уткнулась носом

в плечо.

— Вы только возвращайтесь, — сказала она в плечо. — Ладно? Привезите песок, шерсть, что хотите. Только возвращайтесь.

— Вернусь, — сказала Алиса. — Куда я денусь. У меня тут лавка.

Потом она ещё долго лежала в своей каморке без сна и слушала, как за стенкой Матильда ворочается, вздыхает и, кажется, плачет — тихонько, в подушку, как плачут в семнадцать лет, когда стыдно и никто не должен слышать. А внизу, в торговом зале, в сундуке у печки, что-то шуршало, позвякивало и бормотало: Клом пересчитывал наличность в коробочке из-под леденцов. В шестой раз за вечер. Наверное, тоже не мог уснуть.

Алиса смотрела в потолок и думала о четырёх словах.

«Не езжайте одна».

Он не написал «не езжайте». Он мог бы. Он был её опекуном и имел на это полное право — запретить. Приказать. Отправить письмо Лорну с распоряжением не выпускать леди Лейн из города. Лорн бы выполнил — с извинениями, с булками, с лютней, но выполнил бы.

Он не запретил.

Он написал: «не одна».

Алиса подумала, что ещё год назад — нет, полгода, — она бы этого не оценила. Не поняла бы, чего ему это стоило. Человеку, который в двадцать три года не успел вернуться до-

мой, когда умирали мать и сестра. Который девять лет не приезжал в Грантхольм. Который в метель, четыре дня без сна, гнал коня из-за трёх корявых строчек Гуннара.

Он мог запретить. Он написал: «не одна».

Она уснула под утро и не слышала, как внизу, у печки, Клом перестал пересчитывать деньги, вылез из сундука, тихо подошёл к лестнице и долго сидел на нижней ступеньке, глядя наверх. Как сторож. Как дед, который сорок вёрст вёз хозяйство из Старого дома и не довёз три мешка из четырёх.

Одного Клом решил не терять ни в коем случае.

* * *

Он приехал второго апреля, вечером, когда никто уже не ждал.

Алиса как раз стояла во дворе Бреннера и в сотый раз проверяла, как уложены ящики с мылом в её двух телегах, — Бреннер позволил ей иметь две свои телеги, которые она купила у Шульца, того самого, который пил, за смешные деньги, потому что Шульц, по его собственным словам, «завязывал с дорогой навсегда». Телеги были старые, но крепкие. Возчиками на них Бреннер поставил Тима и угрюмого парня по имени Кассиан, который за всё время, что Алиса его знала, произнёс шесть слов, четыре из которых были «да, мастер».

Ящики были уложены хорошо. Алиса знала это, потому что проверяла их уже девяносто девять раз. Но сотый — это было важно. Сотый — круглый.

Ворота распахнулись, и во двор въехали всадники.

Их было двенадцать. Они ехали по двое, на крепких северных лошадях, в серых армейских плащах, с короткими копьями у седла. Все в кожаных шлемах, все с мечами, все одинаково молчаливые и одинаково заляпанные грязью до самых ушей. Впереди — двое. Один — коренастый, широкий, с вислыми седыми усами и лицом, похожим на добрую картофелину, — Хаузер, его адъютант, которого Алиса видела в Ворне в феврале. Второй...

Второй был в чёрном.

Он всегда был в чёрном — плащ, куртка, перчатки, сапоги. Чёрный конь. Чёрные волосы, слишком длинные для военного, мокрые от дорожной мороси и откинутые назад. Лицо — резкое, худое, бледное той особенной северной бледностью, которая не берётся никаким загаром. И глаза — серые, холодные, как лёд на Лиаре в январе.

На левой руке, под чёрной перчаткой, — Алиса знала это, хотя видеть не могла, — от запястья почти до локтя шёл свежий розовый рубец. Ожог. Она перевязывала его трижды. Потом он сам. Криво.

Герцог Валериан фон Грант остановил коня посреди двора Бреннера, в двух шагах от Алисы, и посмотрел на неё сверху вниз.

— Леди Лейн, — сказал он.

— Ваша светлость, — сказала Алиса.

Возчики у телег замерли кто где был — с вёдрами, со сбру-

ей, с трубками. Бреннер на крыльце конторы медленно вынул трубку изо рта и не стал засовывать её обратно. Тим под колесом перестал петь.

Валериан спешился. Одним движением, легко, как будто не провёл в седле — Алиса прикинула — дня три, не меньше. Бросил поводья Хаузеру. Подошёл. Остановился.

От него пахло мокрой шерстью, конским потом, дымом и — едва уловимо, как всегда, — морозом. Хотя никакого мороза не было. Был апрель. Капало.

— Вы же должны быть на перевале, — сказала Алиса. — Вы же должны... в Солмар... суд... арестованные...

— Арестованных я забрал из крепости час назад, — сказал Валериан. — Хаузер повезёт их в Солмар завтра утром. По Большому Королевскому тракту. С конвоем из двадцати человек.

— Хаузер? — Алиса посмотрела на картофелину с усами. Картофелина с усами вежливо кивнула. — А вы?

— А я, — сказал Валериан, — еду в Вейльбург.

Тишина во дворе стала такой плотной, что в ней можно было увязнуть.

— В Вейльбург, — повторила Алиса.

— В Вейльбург.

— С нами.

— С вами.

— А суд?

— Суд, — сказал Валериан, — не начнётся без меня.

Пусть ждут. Обвиняемые никуда не денутся, судьи — тем более. Королевские суды не торопятся. Это одно из немногих их достоинств.

— Но вы же сами писали...

— Писал. — Он снял перчатку с правой руки. Не с левой. — И ещё я писал: «Вейльбург — не езжайте одна».

— Я и не одна, — сказала Алиса. — Со мной Гуннар. Бреннер. Двенадцать возчиков...

— Повар с чабрецом, — сказал Валериан. — Я знаю. Лорн написал мне. Подробно. С рисунками. — Пауза. — Рисунки он делает хуже, чем играет на лютне.

Алиса почувствовала, что краснеет. Это было глупо и совершенно не к месту, и она разозлилась на себя, и от этого покраснела ещё сильнее.

— Ваша светлость, — сказала она как можно суше, — я вам очень благодарна за заботу. Но вам совершенно не обязательно ехать с нами. У вас суд. У вас армия. У вас перевал. А Вейльбург — это двести двадцать четыре версты на юго-восток. Совсем не по пути.

Валериан посмотрел на неё. Долго. Серыми, холодными, совершенно непроницаемыми глазами.

— Мне по пути, — сказал он.

— Вам — по пути?

— В списке Вельта, — сказал он ровно, — есть Вейльбург. «Южный тракт — Вейльбург — шерсть, лён, песок. Метод: опередить. Устранить источник». Я обязан прове-

рить. Это государственное дело. Кроме того, армии нужен южный тракт. Нам поставляют сукно из Вейльбурга, но никто из моих офицеров никогда по этой дороге не ездил. Я хочу знать, где на ней мосты, где броды, где колодцы, где можно встать лагерем и где нельзя. Мне нужна разведка. Я её проведу.

— Лично.

— Лично.

— Вы — герцог и генерал-командующий северной армией — лично поедете разведывать дорогу до ярмарки суконщиков.

— Да.

— С обозом мыловарни.

— Да.

Алиса смотрела на него. Он смотрел на неё. Где-то сзади, у телег, кто-то из возчиков очень тихо и очень выразительно сказал: «Ну-у-у».

— Это неправда, — сказала Алиса.

— Это государственное дело, — сказал Валериан.

— Это не одно и то же.

— Леди Лейн, — сказал Валериан, и в его голосе впервые за весь разговор появилось что-то, что можно было бы при желании принять за усталость. Или за улыбку. Или за то и другое сразу. — Я три дня ехал с перевала. Я не спал две ночи. Мои люди не спали тоже. Я забрал из крепости четырёх арестованных, выслушал от Лорна доклад на полтора часа,

из которых час двадцать он рассказывал о вас, и выдержал десять минут разговора с бургомистром Штольцем о поставках мыла в гарнизон. Давайте вы будете спорить со мной завтра. По дороге. У нас будет двадцать дней. Наспоритесь.

Алиса открыла рот. Закрыла.

— Где вы будете ночевать? — спросила она.

— В крепости.

— В крепости холодно, — сказала Алиса машинально. — Лорн говорил, у него в гостевой печь дымит.

— Я привык.

— Не спите в холоде, — сказала Алиса и тут же прикусила язык, потому что это были его слова. Из его январского письма. Восьмая строка.

Валериан посмотрел на неё. Что-то мелькнуло в серых глазах — быстро, как рыба под льдом.

— Постараюсь, — сказал он.

Потом надел перчатку, повернулся и пошёл к Бреннеру, который так и стоял на крыльце своей конторы с погасшей трубкой в руке.

Алиса не слышала, о чём они говорили. Видела только, что Бреннер сначала хмурился, потом что-то коротко спросил, потом долго слушал, потом кивнул, потом ещё раз кивнул, потом посмотрел на Алису через весь двор взглядом, в котором было ясно написано: «Я же говорил — баба в караване — беда. А баба с герцогом в караване — две беды». И снова кивнул.

Потом Валериан вернулся к своим всадникам, вскочил в седло — опять одним движением, — и они уехали так же, как приехали: по двое, молча, заляпанные грязью до ушей.

Двор Бреннера ещё полминуты стоял в тишине.

— Мастер Бреннер, — сказала Алиса, — что он вам сказал?

Бреннер медленно засунул трубку в рот. Затянулся. Обнаружил, что она погасла. Вынул.

— Сказал, что в дороге командую я, — сказал он. — Сказал, что он и его люди — охрана каравана и подчиняются мне, как все. Сказал, что платить ему не надо. Сказал, что корм для лошадей — свой. — Бреннер помолчал. — Тридцать один год вожу обозы. Первый раз герцог мне говорит, что я командую.

— И что вы ответили?

— Сказал, что выезжаем на рассвете, — сказал Бреннер. — Опоздает — уедем без него.

Он сплюнул, повернулся и ушёл в контору. Хлопнула дверь.

Из-под колеса Алисиной телеги вылез Тим Кох. Весь в дёгте, вихрастый, с круглыми глазами.

— Леди, — сказал он восторженно, шёпотом, — это был сам? Тёмный герцог? Настоящий?

— Настоящий, — сказала Алиса.

— А он правда может взглядом заморозить?

Алиса подумала.

— Может, — сказала она. — Но редко. Обычно он просто так смотрит.

Тим посмотрел туда, где только что исчезли всадники. Потом на Алису. Потом снова туда.

— Вот это да, — сказал он с чувством. — Вот это поездочка будет.

И снова нырнул под колесо, и снова запел — тихо, без слов, под нос, но теперь уже быстрее и веселее.

В крепости в гостевой комнате действительно дымила печь.

Валериан сидел у стола, не снимая плаща, и смотрел на огонь, которого почти не было — так, тлели два полена, неохотно, с шипением, потому что дрова были сырые. Лорн извинялся за дрова. Лорн извинялся за печь. Лорн извинялся за ужин, за постель, за сквозняк из окна, за то, что у него нет ничего лучше, чем кислое солмарское вино, — и в конце концов Валериан выставил его за дверь со словами: «Эмрих, иди спать. Я как-нибудь переживу твою печь. Я пережил твою лютню».

Лорн ушёл, обиженно бренча чем-то в коридоре.

Валериан остался один.

Он не спал. Спать он не мог — это бывало у него после долгой дороги: тело устало до последней жилки, а голова не отпускала, крутила одно и то же, как мельница на холостом ходу. Перед ним на столе лежали две карты. Одна —

большая, армейская, на пергаменте, Северная марка и южные провинции, с Королевским трактом, проведённым жирной красной линией, с городами, крепостями, бродами. Вторая — маленькая, на бумаге, начерченная от руки. Её дал ему час назад Бреннер. «Мой путь, — сказал Бреннер, — не тракт. Тракт — это для королей и дураков. Тракт на триста вёрст длиннее. Я хожу малыми дорогами. Вот».

Малая дорога шла от Ворна на юго-восток. Через Лиару — по мосту на восемнадцатой версте, который, по словам Бреннера, «сносит каждую весну, а каждое лето чинят, а каждую осень говорят, что в следующем году построят каменный». Через постоялый двор «Хромой гусь». Через Лисий Брод. Через болото с гатью. Через деревню Сухой Колодец. Через перевал Двух Сестёр. Дальше — каменистая пустошь, пологие холмы, потом спуск в долину Белой реки. Вейльбург.

Двести двадцать четыре версты.

А Солмар был на юго-западе.

Валериан провёл пальцем по большой карте. От Ворна — по красной линии Королевского тракта — вниз, налево, к белому городу на Лиаре. Потом от Ворна — по воображаемой линии — вниз, направо, к Вейльбургу. Две линии расходились, как ножки циркуля. Чем дальше на юг, тем шире.

«Мне по пути», — сказал он ей сегодня.

Он смотрел на две линии и думал, что солгал ей впервые. Нет. Не впервые. Но впервые — так прямо, так глупо, так

очевидно, что она поняла это раньше, чем он успел закончить фразу. «Это неправда». Она сказала это не обиженно, не сердито. Просто констатировала. Как Клом записывает в свою книжечку: приход, расход, сальдо.

И он ответил: «Это государственное дело».

Что тоже было правдой. Отчасти. Вельт действительно написал «Вейльбург». Южный тракт действительно был нужен армии. И разведка действительно была нужна. Хаузер, когда Валериан сказал ему об этом два дня назад, на перевале, долго смотрел на него своими добрыми глазками, а потом сказал только: «Как прикажете, командир. Разведка — дело важное». И отвернулся, но Валериан успел заметить, как дрогнули его вислые усы.

Хаузер знал. Лорн знал. Гуннар знал, наверное, ещё в феврале. Возчики Бреннера — и те, кажется, знали.

Не знал, кажется, только он сам. Или знал, но не мог себе в этом признаться. Потому что признаться значило бы сказать это слово. А слова этого у него не было. Слова этого не было в армейском уставе. Не было в королевских хартиях. Не было в отчётах, в донесениях, в картах, в списках поставок. Он девять лет жил в мире, где этого слова не было, и думал, что так и надо, что так правильно, что так безопаснее, — потому что то, чего нет, нельзя потерять.

А потом в его заброшенном доме появилась рыжая упрямая девица с мылом и сметами, и вымыла этот дом, и вымыла этот город, и сидела всю ночь у постели чужого ребёнка,

держа над ним тепло, пока у неё самой не подкашивались ноги. И перевязывала ему руку. Трижды. И говорила: «Не спите в холоде».

Его собственными словами.

Валериан закрыл глаза.

В печке тихо шипели сырые дрова. За окном капало. Где-то внизу, во дворе крепости, перекликались часовые.

Он подумал, что в Солмаре его ждёт суд. Король. Пламенная Палата. Граф Октавиан Сарн, чьё имя он не произнёс вслух ни разу с того дня, как поднял с талого льда Лиары обломок печати с тремя языками пламени и буквами «...РН». Не произнёс — потому что произнести значило бы начать войну. А к войне с Палатой он был не готов. Пока.

Он подумал, что в Солмаре его ждёт всё это, и что ехать нужно туда, на юго-запад, и что любой разумный человек на его месте поехал бы туда.

И подумал ещё, что он, кажется, впервые в жизни не хочет быть разумным человеком.

Он открыл глаза, погасил свечу и лёг на холодную, сырую гостевую постель Лорна, не раздеваясь. Через пять минут он спал. Без снов.

На рассвете он приехал на двор Бреннера первым.

* * *

Камень нулевой версты стоял у южных ворот Ворна, в двух шагах от моста через ров.

Камень был серый, высотой по колено, с выщербленным

боком и с полустёртой надписью, которую никто уже не мог прочесть, — то ли «Ворн», то ли «Вор», то ли вообще что-то на старом языке, который забыли ещё при прадедах. От камня дорога расходилась в три стороны: налево — на Солмар, прямо — на Хаммерталь, направо — на юго-восток, в пустые земли. Туда, куда ходил Бреннер.

Провожать караван вышел весь Ворн.

Ну, может быть, не весь. Но так показалось Алисе, когда она, сидя на облучке своей первой телеги рядом с Тимом, выехала из ворот и увидела толпу. Толпа стояла по обе стороны дороги — на обочинах, на валу, на крышах ближайших сараев. Толпа махала руками, платками, шапками, кричала что-то, и в этом гаме невозможно было ничего разобрать, кроме собственного имени, которое кто-то выкрикивал снова и снова, и голос был детский.

— Леди! Леди! Леди-и-и!

Это был Флинт. Рыжий, взъерошенный, он стоял на камне нулевой версты — прямо на нём, на самом верху, балансируя на одной ноге, — и махал над головой чем-то синим. Синее оказалось шарфом. Шарф Алиса узнала: его вязала Вета всю зиму, путаясь в петлях, плача и начиная заново. Вета стояла внизу, у камня, держа на руках брата — маленького Олдоса, уже не синего, не прозрачного, а толстого, румяного, орущего во всю силу здоровых лёгких.

— Это вам! — орал Флинт. — Вета велела! Чтоб не мёрзли!

— На юге тепло! — крикнула Алиса.

— А по ночам? — крикнул Флинт.

Алиса засмеялась и поймала шарф, который Флинт швырнул ей через головы. Шарф был кривой, неровный, с дырками там, где Вета спускала петли, и пах дымом из печки под мостом. Алиса обмотала его вокруг шеи.

Рядом с камнем стоял Дросс. Без перстней, без цепи, в простой суконной шубе, хотя было уже тепло. Он держал за руку Тобиаса — светловолосого, серьёзного, в новой шапочке. Тобиас смотрел на караван круглыми голубыми глазами. Дросс поймал Алисин взгляд и молча поклонился. Глубоко. Как кланяются не торговке, а даме.

Рядом с Дроссом — Хильда, с последней, пятой корзиной пирогов, которую она пыталась всучить Гуннару, а Гуннар отбивался. Рядом с Хильдой — бабушка Грюн и ещё четыре старухи, которые хором что-то кричали — кажется, про колодец, у которого не растёт трава. Рядом со старухами — мясник Мюллер с сыном Куртом, кожевник Хуго с дочкой Гретхен, сапожник Ланг, отец Матиас из часовни Тихого Огня, почти слепой, поддерживаемый под руку какой-то женщиной, — Алиса узнала в ней вдову Кох, мать Тима. Вдова Кох смотрела только на одну телегу. На ту, на облучке которой рядом с леди сидел её старший сын, вихрастый и веснушчатый, с вожжами в руках и с таким гордым лицом, будто он вёл не телегу с мылом, а королевскую карету.

— Тимка! — крикнула вдова Кох. — Шапку надень!

— Мам! — отозвался Тим, краснея до ушей. — Тепло же!

— Надень, я сказала!

Тим, бормоча что-то, натянул шапку. Вдова Кох кивнула и прижала к себе младшего, Пауля, который стоял рядом и, открыв рот, глядел на всадников герцога.

Капитан Лорн стоял чуть в стороне. В парадном мундире, со шпагой, без лютни — слава Пламени, без лютни. Он отдал Алисе честь, когда её телега поравнялась с ним, — чётко, по-военному, но в синих глазах была такая грусть и такая весёлость одновременно, что у Алисы что-то сжалось в груди.

— Леди Алиса, — сказал Лорн. — Счастливого пути. Возвращайтесь. Без вас в Ворне будет пахнуть кожевенным стоком.

— Без меня в Ворне будет Матильда, — сказала Алиса. — С ней будет пахнуть лесом.

— Матильда — это хорошо, — согласился Лорн. — Но Матильда не ругается со мной из-за дров для гарнизона. Мне будет скучно.

— Я вам напишу.

— Напишите, — сказал Лорн. И, помолчав, тише, так, чтобы слышала только она: — Он хороший человек, Алиса. Хороший. Просто дурак. Как все мы.

Алиса ничего не ответила. Телега проехала дальше.

Матильда стояла у самого камня, рядом с Флинтом. Она не плакала. Она очень старалась не плакать, и это было видно по тому, как она закусила губу и как стискивала обеими

руками свою рыжую косу. Когда Алисина телега поравнялась с камнем, Матильда шагнула вперёд и сунула Алисе в руки свёрток.

— Это что? — спросила Алиса.

— Тетрадка, — сказала Матильда. — Чистая. Для дорожного дневника. Вы же будете писать? Про мосты, про колодцы, про всё?

— Буду.

— Ну вот. — Матильда отступила на шаг. — Пишите. А потом мне дадите прочитать.

— Дам.

— Леди, — сказала Матильда, и голос у неё всё-таки дрогнул, — вы только...

— Вернусь, — сказала Алиса. — Тильда. Я вернусь.

Телега проехала дальше. Матильда осталась стоять у камня нулевой версты — маленькая, рыжая, с косой в руках. И стояла, и смотрела, и Алиса, обернувшись через плечо, видела её ещё долго, пока дорога не повернула за холм.

Впереди ехал Бреннер. На своей первой телеге, большой, с высокими бортами, с собакой — той самой басовитой, лохматой, рыжей с подпалинами, — которая сидела рядом с ним на облучке и смотрела вперёд с таким видом, будто это она командует караваном. Собаку звали Капрал. Бреннер говорил, что она умнее половины его возчиков, и, судя по всему, не шутил.

За Бреннером — пять его телег. За ними — две Алисины. Тим правил первой, угрюмый Кассиан — второй.

Позади — Гуннар верхом, на своей старой гнедой кобыле по кличке Вдова, которую он выпросил у Йорна в Грантхольме и которая, по его словам, «видела больше войн, чем король».

И ещё дальше, растянувшись по дороге, — всадники герцога. Двенадцать — нет, теперь одиннадцать: Хаузер уехал на рассвете в другую сторону, на юго-запад, во главе конвоя, с четырьмя арестованными в зарешеченной повозке. Алиса видела, как они отъезжали. Видела, как Хольт, похудевший, поседевший, в арестантском сером, смотрел на неё сквозь решётку — долго, неотрывно, с такой тихой и такой бессильной ненавистью, что ей стало холодно, несмотря на апрель.

Валериан ехал отдельно. Не впереди, не позади — сбоку. По обочине. На своём чёрном коне, в своём чёрном плаще, молча. Он не смотрел на Алису. Он смотрел на дорогу, на холмы, на небо, на поля, — и время от времени доставал из-за пазухи маленькую книжечку и что-то в ней записывал. Карандашом. Не останавливаясь.

— Леди, — сказал Тим, когда они отъехали от Ворна с версту. — А он что, всё время будет вот так? Рядом?

— Наверное.

— А зачем он пишет?

— Разведка, — сказала Алиса. — Государственное дело.

Тим посмотрел на неё. Потом на герцога. Потом снова на

неё. У него было очень выразительное веснушчатое лицо, и выражало оно сейчас то же самое, что и лица всех возчиков Бреннера вчера на дворе.

— Ну-у-у, — сказал Тим.

— Правь давай, — сказала Алиса.

Тим заухмылялся и стал править.

Дорога шла под гору, пологая, раскисшая, в колеях, полных воды. Телеги вязли, лошади фыркали и упирались. Небо было серое, низкое, но где-то далеко на юге, над холмами, в облаках уже светлела полоса — бледно-жёлтая, как масло. Пахло мокрой землёй и прошлогодней травой. На полях лежали последние грязные пласты снега — в ложбинах, в тени перелесков. А по обочинам, в канавах, среди бурой травы, уже вылезала мать-и-мачеха — жёлтая, яркая, нахальная, как цыплята.

Алиса открыла Матильдину тетрадку. Новую, чистую, в обложке из толстого серого картона, с нитками, которыми Матильда сшила листы. На первой странице Матильда нарисовала — углём, неумело, но очень старательно, — дом. Домик с трубой. С дымом из трубы. С надписью под ним, кривой, с ятями и ерами: «ДОРОЖНЫЙ ДНЕВНИКЪ ЛЕДИ АЛИСЫ. ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ».

Алиса посмотрела на домик. Посмотрела долго.

Потом достала из кармана грифель — Клом выдал ей с утра под расписку — и перевернула страницу.

Телега тряслась. Буквы выходили кривыми.

«Верста первая, — написала Алиса. — Дорога разбита. Колеи по колено. Справа — ольшаник, слева — поле. Камней нет, ям — много. Мать-и-мачеха цветёт».

Подумала. Добавила:

«Справа, по обочине, едет человек, которому по пути. Пишет что-то в книжечку. Что именно — не говорит. Государственное дело».

Подумала ещё. Зачеркнула последнюю строчку. Аккуратно, одной ровной линией.

Потом передумала — и не стала зачёркивать дальше. Пусть будет видно.

Из сундука, привязанного верёвками за её спиной, среди ящиков с мылом, донеслось сопение и сонное бормотание. Клом проснулся.

— Хозяйка, — сказал он глухо, сквозь дубовую крышку. — Где мы?

— Верста первая, — сказала Алиса.

Клом помолчал.

— Дома — лучше, — сказал он.

— Знаю.

— А ещё сколько?

— Двести двадцать три.

Из сундука донёсся тяжёлый, обречённый вздох — такой глубокий, такой искренний, что Тим рядом с Алисой фыркнул и чуть не выронил вожжи.

— Записываю, — сказал Клом. — Дорога: длинная.

Вздох: один. Пирогов Хильды: пять корзин. — Пауза. — Хозяйка. А его светлость с нами?

— С нами.

Ещё одна пауза. Подлиннее.

— Записываю, — сказал Клом совсем другим голосом. Почти довольным. — Это — в приход.

И затих.

А Алиса сидела на облучке, в кривом синем шарфе Веты, с дорожным дневником на коленях, и смотрела, как впереди, за холмами, светлеет полоса неба — бледно-жёлтая, как масло. И как справа, по обочине, едет чёрный всадник, не глядя на неё, и что-то пишет в маленькую книжечку.

И думала, что дорога, кажется, только начинается.

Глава 2. «Верста 18. Моста нет»

Дорожный дневник: «Верста восемнадцатая. Мост через Лиару — есть на карте мастера Бреннера, есть в постановлении совета Ворна о пошлинах, есть в памяти всех возчиков. В действительности моста нет. Пошлину за него, однако, берут».

Дождь начался на третьей версте и не прекращался два дня.

Это был не ливень — ливень хотя бы честно обрушивается, грохочет и проходит. Это был северный весенний дождь, мелкий, холодный, упорный, как налоговый сборщик. Он не падал, а висел в воздухе, и сквозь него всё было серым: небо, поля, лошади, люди, телеги, дорога. Особенно дорога. Дорога на второй день превратилась в то, что Бреннер называл «киселём», а возчики — словами, которые Алиса не стала бы записывать в дневник даже зачёркнутыми.

Телеги вязли. Каждые полверсты кто-нибудь застревал, и тогда весь караван останавливался, возчики слезали, ругались, подкладывали под колёса хворост, упирались плечами в задние борта, лошади храпели и рвались, и телега с чавканьем вылезала из ямы — до следующей ямы. Колёса обрастали грязью так, что их становилось вдвое толще. Сапоги обрастали грязью так, что ноги становились вдвое тяжелее. К вечеру первого дня у Алисы грязь была везде: на подоле, на

плаще, на шарфе Веты, на щеке, в волосах и — непостижимым образом — внутри левого рукава.

— Это как же? — спросила она, вытряхивая из рукава комок глины.

— Дорога, — сказал Тим философски. — Она везде залезает. Вы, леди, не переживайте. К Лисьему Броду привыкнете. А к Вейльбургу вам без грязи даже скучно будет.

Тим, судя по всему, грязи не замечал совсем. Он правил, пел, болтал без умолку, спрыгивал толкать телегу раньше, чем его просили, и запрыгивал обратно, оставляя на облучке два огромных глиняных следа. Он знал по именам всех лошадей каравана — их было двадцать шесть — и про каждую мог рассказать историю. Гнедой мерин Бреннера по кличке Пастор не любил переходить ручьи. Серая кобыла Лотта боялась ворон. Пегий Боцман, который тащил Алисину первую телегу, был добрый, но ленивый и хитрый и умел делать вид, что тянет, когда на самом деле не тянул.

— Вот смотрите, — говорил Тим, показывая вожжами. — Видите, у него уши как? Назад. Значит, притворяется. Сейчас я его... Боцман! Боцман, кому говорю! Я тебя вижу!

Боцман вздыхал — совершенно по-человечески — и начинал тянуть.

— Вот, — с гордостью говорил Тим. — Он меня уважает.

— А тебя как научили? — спросила Алиса. — С лошадьми?

Тим пожал плечами.

— Никто не учил. Отец возчиком был. Пока не помер. Я с ним с пяти лет ездил. Потом он помер — мне десять было. Лошадь продали, телегу продали. Мать стирать пошла. А я... — Он снова пожал плечами. — Я к лошадям всё равно ходил. На рынок. К Бреннеру на двор. Чистил, кормил. Бесплатно. Просто так. Мне с ними... ну... хорошо. Они не врут.

— Не врут?

— Лошадь не врёт, — уверенно сказал Тим. — Если ей плохо — видно, что плохо. Если боится — видно. Если хитрит — тоже видно, вон как Боцман. А люди... — Он покосился на Алису, смутился. — Ну, люди по-разному.

Алиса подумала, что шестнадцатилетний мальчишка из Нижнего квартала Ворна только что сформулировал одну из самых точных мыслей, которые она слышала за последний год. И что там, в Твери, она знала нескольких людей с дипломами психологов, которые не сформулировали бы её и за деньги.

— А на юге ты лошадь купишь? — спросила она.

Лицо у Тима стало мечтательным.

— Куплю, — сказал он. — Бреннер сказал — если всё хорошо будет, он мне за дорогу три кроны даст. Три кроны! А в Вейльбурге, говорят, лошадей много, южных, они дешевле наших. За три кроны можно хорошую взять. Молодую. Я её сам выезжу. И тогда — всё. Со своей лошадью я сам себе хозяин. Могу к Бреннеру возчиком. Могу на мельницу возить. Могу в Хаммерталь. Мамке помогать буду. Пауля в школу

при часовне отдам. Отец Матиас говорит, Пауль толковый.

— А как назовёшь? Лошадь?

Тим задумался. Задумался глубоко, серьёзно, нахмурив рыжие брови. Боцман, пользуясь этим, немедленно перестал тянуть.

— Не знаю, — сказал Тим наконец. — Надо сначала на неё посмотреть. Имя — оно же не просто так. Оно к лошади подходить должно. — Он заметил Боцмана. — Боцман! Опять! Я тебя вижу!

Боцман вздохнул.

На второй вечер они встали на ночлег в ольшанике на склоне холма, у ручья, и Алиса впервые увидела, как Бреннер разбивает лагерь.

Это было похоже на танец. Неуклюжий, грязный, сопровождаемый руганью и лаем Капрала, — но танец. Восемь телег сами собой, по одному слову Бреннера, встали в круг, оглоблями внутрь. Лошадей распрягли, напоили, стреножили и пустили пастись на склон, где уже пробивалась первая трава. Двое возчиков пошли за хворостом, двое — за водой, двое натягивали над кругом телег парусину. Гуннар молча, без всяких указаний, обошёл лагерь по периметру, посмотрел на склон, на ручей, на опушку ольшаника, и выбрал место для часового — на пригорке, откуда была видна вся дорога. Бреннер посмотрел на его выбор, хмыкнул и ничего не сказал. Что, как поняла Алиса, было высшей похвалой.

Всадники герцога встали отдельно, чуть поодаль, у самой опушки. Тоже быстро, тоже молча, но по-своему — по-военному, с часовыми, с конями на привязи, с костром, обложенным камнями. Валериан что-то коротко говорил своим людям, потом подошёл к Бреннеру, они постояли над маленькой картой, о чём-то тихо переговорили, и Валериан ушёл обратно к своим. На Алису он не посмотрел. За два дня пути он не сказал ей ни слова, кроме «доброе утро» на рассвете и «добрый вечер» на закате. Ровно, вежливо, как полагается опекуну.

Алиса старалась не обращать внимания. И почти не обращала. Почти.

Феб варил ужин.

Варил он, как и обещал, из того, что дали, — и из того, что дали, получалось чудо. Простая каша с салом и луком на третий день пути под дождём оказалась таким счастьем, что возчики Бреннера, народ суровый и к нежностям не склонный, ели молча, благоговейно, вылизывая миски. Феб ходил между ними с черпаком, подкладывал добавку, улыбался своими ямочками, спрашивал, кому соли, кому перцу, — и выглядел совершенно счастливым.

— Леди, — сказал он, подкладывая Алисе вторую порцию. — Вы ешьте. Вам силы нужны. Дорога длинная.

— Спасибо, Феб. Очень вкусно.

— Чабрец, — сказал Феб и улыбнулся. — Я же говорил. — Он помолчал, глядя на сундук, который Гуннар снял с

телеги и поставил под парусиной, поближе к огню. — А вашему... этому... в сундуке... ему отнести? Он ест?

— Ест, — сказала Алиса. — Но немного. И сам берёт.

— Сам, значит, — сказал Феб. — Интересно. — Он ещё немного посмотрел на сундук. — Это правда, что он деньги считает?

— Правда.

— И все-все деньги каравана?

— Мои деньги, — сказала Алиса. — Не каравана. Каравана — это у мастера Бреннера.

— Ну да, ну да, — закивал Феб. — Конечно. Я просто так спросил. Интересно же. Никогда беса не видел. — Он спохватился. — То есть не беса. Этого... кладовика. Простите, леди. По-простому.

Он отошёл к котлу. Капрал, лежавший у Алисиных ног, проводил его взглядом и глухо, едва слышно, заворчал.

— Тихо, — сказала Алиса и почесала собаку за ухом. — Ты чего?

Капрал перестал ворчать. Но смотреть на Феба не перестал.

— Капрал новых не любит, — сказал Тим с набитым ртом. — Он и меня в первый месяц за штаны хватал. А теперь вон — друг. — Он протянул собаке шкварку. Капрал взял, деликатно, одними губами. — Привыкнет.

Алиса кивнула и забыла.

Клом в сундуке, как выяснилось, тоже ел. Ночью, когда

лагерь уснул и только часовой Гуннар покашливал на пригорке, а у костра всадников кто-то из солдат тихо пересказывал товарищу какую-то длинную историю про вдову из Хаммерталя, — Алиса проснулась от тихого шороха. Открыла глаза. В свете углей у её тюфяка, под парусиной, сидел Клом и сосредоточенно доедал пирог Хильды. С морковью и изюмом. «Секрет».

— Вкусно? — шёпотом спросила Алиса.

— Терпимо, — шёпотом ответил Клом. И, подумав, добавил: — Дома — лучше.

— А повар как? Феб?

Клом задумался. Пожевал.

— Каша — хорошая, — сказал он. — А сам — не знаю. Мало видел. Спрашивает много.

— Про что?

— Про всё. Про деньги. Про лавку. Про его светлость. Возчиков спрашивает. Тима спрашивает. — Клом доел пирог, облизал пальцы. — Любопытный.

— Повара все любопытные, — сказала Алиса. — Им же надо знать, кто что любит.

— Наверное, — сказал Клом. — Записываю: любопытный. — Он полез обратно в сундук, и уже из сундука, из-под Бертиного одеяла, донеслось сонное: — Дома всё равно лучше.

К мосту через Лиару они вышли на третий день, около

полудня. Дождь к этому времени наконец выдохся, и над долиной, разорвав облака, показалось солнце — бледное, водянистое, но настоящее.

В этом бледном солнце Алиса увидела реку.

Лиара здесь, в восемнадцати верстах от Ворна, была совсем не той, что в городе. В Ворне она текла, закованная в каменные берега, под каменным мостом с гербом, спокойная, тёмная, покорная. Здесь — нет. Здесь она была дикой, широкой, вздувшейся от весенних вод, и неслась вниз по долине бурым ревущим потоком, таща на себе ветки, коряги, целые деревья с корнями, пласты дёрна, обломки льда, чей-то плетень и — Алиса не поверила своим глазам — живую, возмущённо гогочущую утку, которая плыла на доске и, кажется, получала от этого удовольствие.

Моста не было.

То есть было то, что от него осталось. Две каменные опоры у берегов — толстые, мшистые, древние. И ещё две посередине реки — из толстых, почерневших от времени дубовых свай, вбитых в дно. Вода билась о сваи, вздымаясь белыми бурунами. Настил — когда-то лежавший поверх свай, широкий, бревенчатый, такой, что могли разъехаться две телеги, — исчез. Только кое-где на сваях ещё висели обломки балок, перекошенные, переломанные, как зубы в старом рту. Один такой обломок держался на честном слове и на ржавой железной скобе и раскачивался в потоке, скрипя.

— Ну вот, — сказал Бреннер. — Моста нет.

Он сказал это без удивления, без досады. Просто констатировал. Как погоду.

— Вы знали? — спросила Алиса.

— Я тридцать один год вожу обозы, леди, — сказал Бреннер. — Этот мост сносит каждую весну. Двадцать восемь раз из тридцати одного — сносило. Два раза не сносило, потому что зимы были бесснежные. И один раз — тот год, когда его поставили новый, — сносило дважды. Весной и осенью.

— И что же вы делаете каждый раз?

— Ждём, — сказал Бреннер. — Вода спадает. Через неделю-две можно переходить вброд — вон там, ниже, у плёса. А к лету приезжают из Ворна плотники, кладут новый настил.

— Неделю-две, — повторила Алиса.

— Неделю, если повезёт, — сказал Бреннер. — Если не повезёт — две.

— Мастер Бреннер, — сказала Алиса, стараясь говорить спокойно. — Ярмарка в Вейльбурге открывается в первый день после Весеннего Огня. Это двадцать девятое апреля. Сегодня пятое. До Вейльбурга ещё двести шесть вёрст. Если мы будем ждать неделю, мы приедем к самому открытию. Если две — опоздаем. А барон Морс к открытию скупит всё. Всю шерсть, весь лён, весь песок. Нам нужно быть там раньше. Хотя бы на пять дней. Лучше — на десять.

Бреннер выслушал её с тем же выражением лица, с каким слушал Капрала, когда тот лаял на ворон.

— Леди, — сказал он, — посмотрите на реку.

Алиса посмотрела.

— Видите?

— Вижу.

— И что вы видите?

— Реку, — сказала Алиса. — Быструю. Широкую. Глубокую.

— Вот, — сказал Бреннер. — А я вижу, как моя Лотта, которая боится ворон, плывёт вон там, вниз по течению, с телегой, полной вашего мыла, и визжит. А за ней плывёт Тим. Тоже визжит. А за Тимом — вы. Молча. Потому что в такой воде визжать некогда. Ледяная. Через пять минут ноги сводит. Через десять — руки. Через пятнадцать — всё. — Он сунул трубку в рот. — Мы ждём.

— Но...

— Мы ждём, — повторил Бреннер. — Условие было, леди. В дороге командую я.

Алиса закрыла рот. Условие было. Она согласилась. Пожала руку.

Она отвернулась и стала смотреть на реку, на сваи, на обломок балки, раскачивающийся на ржавой скобе, — и злилась. Злилась на Бреннера, который был, разумеется, прав. На реку, которая была ни в чём не виновата. На мост, которого не было. На себя, потому что не подумала, не предусмотрела, не заложила в смету эту неделю — а должна была, должна была, ведь Бреннер говорил ещё в Ворне: «сносит каждую весну». Она слышала. И не услышала. Потому что

очень хотелось думать, что в этот раз — нет.

— Э-эй! — донеслось откуда-то справа. — Э-эй, обоз! Вы с Ворна? С Ворна, да? Ох, слава Пламени! Слава Пламени и всем его искрам! Люди! Живые!

Алиса обернулась.

По берегу, переваливаясь, подобрав юбки выше щиколоток и совершенно не заботясь о том, что щиколотки эти видно всему обозу, к ним бежала женщина.

* * *

Женщина была круглая.

Это было первое, что приходило в голову, и Алиса потом долго пыталась придумать что-нибудь поточнее, но так и не придумала. Женщина была круглая во всём: круглое румяное лицо, круглые голубые глаза, круглый маленький нос, круглые щёки с ямочками, круглые плечи, круглый стан, туго затянутый в тёмно-вишнёвое суконное платье, которое когда-то, вероятно, было очень дорогим. На голове — круглый же белый чепец с кружевными оборками, сбившийся набок. Из-под чепца выбивались пепельные кудряшки. Лет ей было на вид около пятидесяти — пятидесяти двух, но бежала она резво, как девчонка, и голос у неё был — Алиса потом узнала почему — поставленный, звонкий, способный перекрыть рёв реки и при необходимости, вероятно, рёв горного обвала.

— Розальда Пумм! — закричала женщина, ещё не добежав. — Вдова! Из Хаммерталя! Сукно! Тонкое, среднее,

крашеное, некрашеное, синее, вишнёвое, голубое! Сижу тут третий день! Третий! На том берегу! То есть на этом! Нет, на этом! — Она остановилась, тяжело дыша, и обвела всех сияющими глазами. — Ох, люди. Я уж думала — всё. Буду тут жить. Построю избушку. Заведу козу. Ох, нет, только не козу.

— Почему не козу? — не удержалась Алиса.

— Был у меня случай, — туманно сказала вдова Пумм. — С козой. В молодости. Не будем об этом. — Она протянула Алисе круглую пухлую руку в перчатке без пальцев. — Розальда. А вы?

— Алиса. Лейн.

— Лейн? — Глаза вдовы Пумм стали ещё круглее, хотя казалось, что круглее некуда. — Лейн из Ворна? Та самая? С мылом? С мором? С тёмным герцогом?

— Я... да, — сказала Алиса. — С мылом. С мором — не совсем так, то есть...

— Ох! — Вдова Пумм схватила её руку обеими своими и затрясла. — Ох, какая удача! Какое счастье! Вы же знаменитость! У нас в Хаммертале о вас все говорят! Мой кузен, он торгует в Ворне свечами — Вилли Пумм, не знаете? — он писал мне, что вы колодцы вычистили и ребёнка какого-то от смерти отмолили. Или отварили. Я не разобрала, у Вилли почерк — как курица лапой. Ох, как я рада! — Она вдруг понизила голос до заговорщического шёпота, который, впрочем, был всё равно слышен на всём берегу. — А это правда,

что герцог — ваш?

— Мой... что?

— Ну... ваш. — Вдова Пумм многозначительно пошевелила круглыми бровями. — Опекун. А?

— Опекун, — сказала Алиса. — Да. Опекун.

— Ну вот и я говорю, — удовлетворённо сказала вдова Пумм. — Опекун. — И добавила, ни к кому не обращаясь, с видом человека, который делает пометку в важном документе: — Покамест.

Сбоку раздалось сдавленное фырканье. Алиса обернулась — Тим. Покрасневший, давящийся, делающий вид, что поправляет сбрую.

— А где ваш фургон, госпожа Пумм? — спросила Алиса, торопясь сменить тему.

— Розальда! Просто Розальда! А фургон — вон. — Вдова махнула рукой ниже по течению. — Застрял. Совсем. Мы с Ойгеном пытались вброд — там, у плёса. Ойген сказал — можно. Ойген глухой, он не услышал, как река шумит. Я тоже не услышала, потому что как раз пела «Хвалу Пламени» — я пою в хоре собора Святого Огня в Хаммертале, тридцать два года, первое сопрано. Ну и вот. Въехали. А там — яма. Колесо — хрусть. Мулы — в крик. Ойген — в крик. Я — в «Хвалу Пламени», громче. Помогло. Мулы вылезли. Фургон — нет. Стоит в воде по ступицу. Третий день. Я на берегу. Ойген на берегу. Мулы на берегу. А моё сукно — в реке! — Голос вдовы Пумм взлетел до того самого перво-

го сопрано. — Шестнадцать штук сукна! Синего! Вишнёвого! Голубого! Я его на ярмарку в Вейльбург везла! Я на него последние деньги потратила! После смерти моего Пумма — пусть горит в Пламени его светлая душа — у меня ничего не осталось, только лавка да вот это сукно! А теперь — в реке!

Она замолчала, и Алиса с ужасом увидела, что круглые голубые глаза наполняются слезами — быстро, по-детски, через край.

— Розальда, — сказала Алиса. — Не плачьте. Сейчас посмотрим.

— Да что смотреть, — всхлипнула вдова Пумм. — Сукно-то уж, наверное, промокло насквозь. Синее полиняло на вишнёвое. Вишнёвое — на голубое. Голубое... — Она махнула рукой. — Всё пропало.

— Сейчас посмотрим, — повторила Алиса.

Фургон вдовы Пумм стоял в реке у плёса, в полуверсте ниже по течению.

Стоял он, впрочем, не так безнадёжно, как можно было подумать. Плёс здесь был мелкий, широкий, вода — хоть и быстрая — доходила фургону лишь до ступиц, а не до днища. Колесо действительно треснуло — переднее, левое: обод лопнул, две спицы вывалились. Фургон накренился влево, но держался. Сукно, сложенное на дощатом настиле внутри, под плотной промасленной холстиной, было — Алиса залезла в фургон по колено в ледяной воде, Гуннар держал её за

пояс — сухим. Почти. Нижние штуки промокли по краям, но не насквозь.

— Розальда! — крикнула Алиса с фургона. — Сукно цело!

— Что?

— Цело! Сухое! Почти!

Вдова Пумм на берегу издала такой звук, что Капрал залаял, а пасшиеся неподалёку два мула — серые, тощие, понурые, — шарахнулись в сторону. Глухой Ойген — старик лет семидесяти, сутулый, с длинными руками и с лицом доброй лошади, — встрепенулся и спросил: «А?», и вдова Пумм обняла его, и они вместе исполнили на берегу какой-то торжественный танец, причём Ойген, судя по лицу, так и не понял, по какому поводу.

— Вытаскиваем, — сказал Бреннер, когда Алиса выбралась на берег, мокрая по пояс, синяя от холода и очень довольная. — Сукно — в мои телеги. Фургон — на берег. Колесо — новое. У меня запасное есть.

— Спасибо, мастер Бреннер.

— Не за что, — сказал Бреннер. — Вы ей заплатите.

— Я?

— Вы, — сказал Бреннер. — Это ж вы полезли. Значит, ваша вдова. Мои телеги — ваши расходы. Запасное колесо — четыре марки. — Он ухмыльнулся в первый раз за три дня. — Я считал.

Из сундука, который Тим притащил на берег и поставил у

костра, чтобы Алиса могла переодеться в сухое за телегами, донёсся горестный вздох.

— Записываю, — сказал Клом сквозь крышку. — Расход: колесо. Четыре марки. Чужое. Вдова: одна. Тоже чужая. Хозяйка: мокрая. Своя. — Пауза. — Хозяйка. Вы опять.

— Что — опять?

— Подбираете.

Алиса, стуча зубами, стягивала за телегой мокрое платье.

— Она бы тут неделю сидела, — сказала она.

— Мы тоже будем тут неделю сидеть, — резонно возразил Клом. — Вместе. Вдвоём веселее. Не надо было колесо.

— Клом.

— Записываю, — сказал Клом. — Колесо. Четыре марки. И пирогов теперь на одного больше. Нет. На двух. Глухой тоже ест. — Пауза. — И мулы.

— Мулы пирогов не едят.

— Вы не знаете мулов, — мрачно сказал Клом.

Фургон вытащили к вечеру.

Это была долгая, мокрая, шумная работа. Шесть возчиков Бреннера, четверо всадников герцога, Гуннар, Тим и глухой Ойген стояли по пояс в ледяной воде, раскачивали фургон, подкладывали под колёса брёвна, тянули верёвками, упирались плечами, и всё это под пение вдовы Пумм. Вдова Пумм стояла на берегу и, как она объяснила, «поддерживала дух». Поддерживала она его «Хвалой Пламени», потом «Песнью о

святом Ортвине», потом — когда фургон уже почти вылез, но в последний момент снова съехал в яму — чем-то бодрым и не вполне церковным, про мельничиху и трёх солдат, отчего солдаты герцога встрепенулись, а Ойген, который не слышал ни слова, но чувствовал ритм, вдруг начал притопывать в воде ногой.

Алиса в работе не участвовала — после первого купания Гуннар её больше в воду не пустил. Просто встал между ней и рекой, большой, однорукий, мокрый, и сказал: «Нет». И она не стала спорить. Она варила на костре горячий отвар из шиповника и мёда — тот, что всю зиму давали в лазарете Ворна обмороженным солдатам, — и раздавала его всем, кто выходил из воды. По кружке. С куском Хильдиного пирога.

Валериан тоже стоял в реке.

Она увидела это не сразу — увидела, когда фургон уже вытащили на берег и все, синие, трясущиеся, ругающиеся, повалили к костру. Он вышел из воды последним. Без плаща, без куртки, в одной чёрной рубашке, облепившей плечи. Мокрый до пояса, до плеч, до волос. Он стоял в реке у заднего колеса, с той стороны, где течение было сильнее всего и где фургон всё время сносило, и держал. Просто держал. Плечом, обеими руками, всем телом. Двадцать минут, полчаса, может быть, больше. Она не видела — думала, это кто-то из солдат.

Он вышел на берег, взял у Хаузера... нет, Хаузера не было... у рыжего Дитриха, своего второго, свой плащ, накинул

и пошёл к костру всадников. Не к общему. Мимо.

Алиса встала у него на дороге с кружкой.

— Отвар, — сказала она. — Шиповник. С мёдом. Горячий.

Валериан остановился. Посмотрел на кружку. На неё.

— Спасибо, — сказал он и взял.

Пальцы у него были ледяные. Не холодные — ледяные, как у мертвеца, и белые, и чуть-чуть синеватые под ногтями. Алиса коснулась их, передавая кружку, и вздрогнула.

— Вы... — начала она.

— Я в порядке.

— Вы стояли в ледяной воде полчаса.

— Холод мне не вредит. — Он отпил из кружки. — Я сам — холод. Забыли?

— Холод вам не вредит, — сказала Алиса. — Но вы-то — человек. Вы мёрзнете. Я видела. В Ворне. В феврале. Вы мёрзнете, просто не показываете.

Валериан посмотрел на неё поверх кружки. Долгим, тяжёлым, непроницаемым взглядом. Капля воды скатилась с его мокрых волос по виску, по скуле, на подбородок.

— Леди Лейн, — сказал он ровно. — Я в порядке.

И пошёл к своему костру. С её кружкой.

Алиса смотрела ему вслед. Злилась. Опять. Второй раз за день — и оба раза на тех, кто был прав. Бреннер был прав, что надо ждать. Валериан был прав, что он в порядке. Наверное. Он лучше знал.

Но кружку он не вернул. И, кажется, допил до дна.

— Ох, — сказали рядом.

Алиса обернулась. Вдова Пумм стояла в двух шагах, с полной кружкой отвара в руках, и смотрела вслед герцогу круглыми, сияющими, бесконечно понимающими глазами.

— Ох, — повторила она. — Опекун.

— Розальда...

— Покамест, — сказала вдова Пумм и с наслаждением отхлебнула отвара.

* * *

Сборщик пошлины объявился на следующее утро.

Это был небольшой человечек в длинном суконном кафтане, с медной бляхой на груди, с мешком через плечо и с лицом, которое, вероятно, никогда в жизни не выражало ничего, кроме служебного рвения. Он появился из маленькой будки на другом берегу — будка стояла у самой каменной опоры, и Алиса её вчера даже не заметила, — сел в крошечную лодку-плоскодонку, переправился через реку ниже по течению, у плёса, гребя одним веслом и ловко лавируя между корягами, вышел на берег, отряхнулся, подошёл к лагерю и сказал:

— Пошлина. С колеса — грош. С вьючной скотины — полгроша. С всадника — грош. С пешего — ничего. — Он достал из мешка восковую табличку и стило. — Восемь телег, тридцать два колеса. Фургон — четыре колеса. Одиннадцать всадников. Двадцать шесть лошадей упряжных, два

мула. Итого...

Он начал считать.

Бреннер, сидевший у костра с трубкой, даже не поднял головы. Возчики продолжали заниматься своими делами. Вдова Пумм, которая с утра уже успела перезнакомиться со всем караваном и выяснить у половины возчиков, женаты ли они, а если нет — то почему, — посмотрела на сборщика с интересом.

— Простите, — сказала Алиса. — Пошлина — за что?

Сборщик поднял на неё глаза. Глаза были водянистые, служебные.

— За мост, — сказал он.

Алиса посмотрела на реку. На сваи. На обломок балки, раскачивающийся на ржавой скобе.

— За какой мост?

— За Лиарский, — сказал сборщик. — На восемнадцатой версте. Согласно постановлению совета вольного города Ворна от тысяча двести тридцать второго года, статья шестая, «о мостовых сборах». С колеса — грош. С вьючной...

— Но моста же нет, — сказала Алиса.

Сборщик посмотрел на реку. На сваи. Снова на Алису.

— Мост есть, — сказал он. — В постановлении.

— А в реке?

— В реке, — признал сборщик, — временно отсутствует. По причине паводка. Но пошлина взимается не за наличие моста, а за пользование переправой. Переправа существует.

Следовательно...

— Какая переправа? — Алиса чувствовала, как в ней поднимается что-то горячее и весёлое одновременно. — Мы же никуда не переправились. Мы стоим на этом берегу. Мы будем стоять на этом берегу ещё неделю. Мы не пользуемся никакой переправой.

— Будете, — сказал сборщик. — Через неделю. Пошлина взимается заранее. Это удобнее.

— Кому удобнее?

— Совету вольного города Ворна, — сказал сборщик с достоинством.

Алиса открыла рот. Закрыла. Снова открыла.

И тут из сундука, стоявшего у костра, раздалось:

— Минуточку.

Сборщик вздрогнул. Посмотрел на сундук. Сундук молчал. Потом крышка медленно, со скрипом, приподнялась, и из щели показались два уха — огромные, оттопыренные, как лопухи, — потом лохматая макушка, потом два маленьких тёмных глаза, похожих на смородину, и, наконец, весь Клом. В синей жилетке с белыми домиками. С грифелем за ухом. С книжечкой учёта в руках.

Сборщик пошлины побледнел и сделал шаг назад.

— Это что? — спросил он шёпотом.

— Бухгалтер, — сказала Алиса.

— Казначей, — поправил Клом. — В бумаге с печатью. — Он вылез из сундука целиком, сел на край, свесив ноги,

и раскрыл книжечку. — Постановление совета Ворна. Тысяча двести тридцать второй год. Статья шестая. «О мостовых сборах». Читал. Копию снимал. В кладовой у его светлости лежит, в Грантхольме, в ящике под номером девятнадцать, с прочими бумагами деда его светлости. — Он перелистнул страничку. — Пункт третий статьи шестой. Читаю. «Сбор взимается при въезде на мост. Ежели мост поврежден или разрушен и проезд по нему невозможен, сбор не взимается до починки». Конец пункта.

Тишина.

Сборщик пошлины смотрел на Клома. Клом смотрел на сборщика. Где-то за спиной Алисы громко, неприлично, совершенно не таясь, захохотал Тим. За ним — кто-то из возчиков. За ним — вдова Пумм, своим поставленным первым сопрано, звонко, на весь берег.

— Это... — сказал сборщик. — Это... я... — Он посмотрел в свою восковую табличку, словно надеялся найти там что-нибудь, что опровергнет пункт третий. Не нашёл. — Это не по правилам. Бесы не могут... в постановлениях...

— Кладовики, — сказал Клом.

— Кладовики не могут...

— Могут, — сказал Клом. — Я — могу. Я читать умею. С пяти лет. Меня дед учил. По амбарным книгам. — Он сощурил смородиновые глазки. — А вы, мастер сборщик, — умеете?

Сборщик пошлины покраснел — медленно, от шеи до

ушей. Сунул табличку в мешок. Поклонился — неизвестно кому, кажется, сундуку. Развернулся и пошёл к своей лодке. Быстро. Не оглядываясь.

— Через неделю! — крикнул ему вслед Клом. — Когда починят! С колеса — грош! Мы заплатим! Мы честные!

Сборщик не ответил. Сел в лодку и погрёб на тот берег — изо всех сил, так, что плоскодонка подпрыгивала на волнах.

Клом закрыл книжечку. Посмотрел на Алису.

— Сэкономлено, — сказал он с невыразимым удовлетворением. — Пятьдесят девять грошей с половиной. Почти пять марок. Колесо вдовы окупили. Почти.

— Клом, — сказала Алиса. — Ты гений.

— Знаю, — сказал Клом. — Записываю.

Он полез обратно в сундук. Но прежде чем закрыть крышку, остановился и посмотрел на опушку ольшаника. Туда, где у своего костра сидели всадники герцога.

Валериан сидел среди них. С кружкой в руках — её кружкой. И смотрел на сундук. И Алиса могла бы поклясться, что угол его рта — левый, тот, что всегда чуть-чуть поднимался, когда он думал, что никто не видит, — чуть-чуть поднялся.

— Его светлость, — сказал Клом удовлетворённо. — Смотрит.

— На тебя, — сказала Алиса.

— На меня, — согласился Клом. — Покамест.

И захлопнул крышку.

Вечером Алиса пришла к Бреннеру.

Он сидел у костра один — возчики уже разошлись спать, вдова Пумм пела где-то за телегами колыбельную своим мулам, Тим ушёл к лошадям, — и курил. Капрал лежал у его ног, положив голову на передние лапы. Валериан сидел у своего костра, в отдалении, над картой.

— Мастер Бреннер, — сказала Алиса.

— Нет, — сказал Бреннер.

— Я ещё не спросила.

— Вы опять про реку. Нет.

— Я не про реку, — сказала Алиса. — Я про мост.

Бреннер вынул трубку изо рта.

— Моста нет.

— Есть сваи, — сказала Алиса. — Четыре опоры. Две каменные, две дубовые. Крепкие — их не снесло. Расстояние между ними — я мерила шагами по берегу, примерно — шагов двенадцать-пятнадцать. А ниже по течению, у плёса, на отмели, лежат брёвна. Много брёвен. Это тот самый настил. Его сорвало, но далеко не унесло — застряло на отмели. Я видела. Длинные, толстые, хорошие. Их можно поднять. Положить на сваи. Связать.

Бреннер посмотрел на неё долгим взглядом.

— Связать, — сказал он.

— Да.

— Чем?

Алиса помолчала.

— Это я и хотела обсудить, — сказала она.

Бреннер хмыкнул. Снова сунул трубку в рот. Затянулся. Выпустил дым.

— Леди, — сказал он, — вы думаете, я не думал? Тридцать один год, леди. Двадцать восемь раз сносило. Я думал. Каждый раз. Положить брёвна на сваи — можно. Достать их с отмели — можно, хоть и муторно. А связать — нечем. Верёвками — снесёт. Скобами — нужен кузнец, а кузнец в Ворне. Вбить клинья — нужно время, а вода поднимается каждый день, к полудню, когда тает снег в горах. Пока свяжем — снесёт. Вместе с теми, кто вяжет. — Он помолчал. — Был у меня возчик. Ульрих. Двадцать лет назад. Тоже хотел мост. Связал. Верёвками. Перешёл с первой телегой. Пошёл обратно за второй. — Бреннер снова помолчал. — Больше я не пробую.

— Мне жаль, — сказала Алиса.

— Мне тоже, — сказал Бреннер. — Он хороший был. Песни пел. — Он посмотрел на неё. — Как Тим.

Алиса молчала долго. Потом сказала:

— А если связать льдом?

Бреннер поперхнулся дымом.

— Чем?

— Льдом, — сказала Алиса. — Брёвна положить на сваи. Близко друг к другу. А потом — проморозить. Насквозь. Все вместе. Чтобы получился один кусок. Одна плита. Брёвна и лёд — вместе. Как... — Она поискала слово. — Как кирпич

на растворе. Только раствор — изо льда.

Бреннер медленно повернул голову. Посмотрел туда, через лагерь, на другой костёр. На чёрную фигуру над картой.

— Его светлость, — сказал он.

— Его светлость, — сказала Алиса.

— Лёд в апреле, — сказал Бреннер. — На реке. Которая течёт. Которая поднимается к полудню. Леди. Лёд в апреле — это гроб. Это все знают.

— Обычный лёд — гроб, — согласилась Алиса. — Тонкий, который сверху на воде, — да. Его подмывает снизу течение, он трескается и уходит. Но это будет не тонкий лёд. Это будет лёд внутри брёвен. Между брёвнами. Под брёвнами. Это будет... — она снова поискала слово и снова не нашла, — ...это будет не лёд, а клей. И держать будут брёвна. Лёд только не даст им разойтись.

— Надолго?

— Не знаю, — честно сказала Алиса. — Не знаю, мастер Бреннер. На час? На два? Нам больше и не надо. Восемь телег, фургон, всадники. Если по одной — за час переправимся.

Бреннер молчал. Курил. Смотрел на огонь. Капрал у его ног поднял голову и тоже посмотрел на огонь, как будто тоже думал.

— Я спрошу его, — сказала Алиса. — Но решать вам. Вы командуете. Условие было.

— Условие было, — проворчал Бреннер. Он ещё помол-

чал. Потом вдруг сказал, не поворачивая головы: — Ваша светлость. Подойдите. Пожалуйста.

Алиса вздрогнула. Обернулась. Валериан уже стоял в двух шагах от неё — она не слышала, как он подошёл. Он всегда ходил бесшумно, как кот или как снег.

— Мастер Бреннер, — сказал Валериан.

— Вы слышали, ваша светлость?

— Слышал.

— Можете?

Валериан посмотрел на реку. Ночью река шумела громче, чем днём, — или, может быть, просто в темноте было лучше слышно. Белые буруны вокруг свай светились в лунном свете.

— Не знаю, — сказал он.

Алиса удивлённо посмотрела на него. Она никогда раньше не слышала, чтобы он говорил «не знаю». Он всегда знал. Или делал вид, что знает.

— Я могу проморозить брёвна, — сказал Валериан медленно, как будто думал вслух. — Могу проморозить воду между ними. Это несложно. Сложно другое. Река течёт. Течение несёт тепло — немного, но несёт. Каждая минута. Лёд будет таять снизу, и мне придётся всё время его подпитывать. Всё время, пока идут телеги. Если я остановлюсь — лёд начнёт таять. Если я устану — лёд начнёт таять. — Он помолчал. — Час. Может быть, полтора. Дальше — не знаю. Никогда не пробовал так долго держать лёд на текущей воде.

— А что будет, если вы устанете? — спросил Бреннер.

— Мост рухнет, — просто сказал Валериан. — С тем, кто будет на нём.

Тишина. Только река.

— Тогда я пойду последним, — сказал Валериан. — После всех. Если рухнет — на мне.

— Нет, — сказала Алиса.

Оба посмотрели на неё.

— Нет, — повторила она. — Вы будете держать лёд. Значит, вы будете стоять на берегу. Или на мосту, но всё время. Вы не можете пойти последним — вы будете последним, кто уходит, и, когда вы уйдёте, мост рухнет. А вы будете на нём. — Она перевела дыхание. — Вы не пойдёте последним. Последним пойдёт пустая телега. А вы перейдёте раньше и будете держать с того берега.

— Это не...

— Ваша светлость, — сказала Алиса. — Вы мне обещали. Двадцать дней спорить. Вот, спорю.

Валериан посмотрел на неё. Долгим, тяжёлым, непроницаемым взглядом. Потом — на Бреннера.

— Мастер Бреннер, — сказал он. — Командуете вы.

Бреннер молчал так долго, что Алиса решила, что он заснул. Потом вынул трубку изо рта, постучал ею о камень у костра, вытряхивая пепел. Встал. Кряхтя. Посмотрел на реку. На сваи. На отмель с брёвнами у плёса. На Алису. На Валериана.

— Завтра на рассвете, — сказал он. — Достаём брёвна. Раньше, чем поднимется вода. Кладём. Проверяю я. Сам. Пешком. Сначала я. Если я пройду — пойдут телеги. Если не пройду... — Он пожал плечами. — Тогда уж вы, леди, сами разберётесь с ярмаркой.

— Мастер Бреннер...

— Я тридцать один год вожу обозы, — сказал Бреннер, отворачиваясь. — Я сам ни разу не ходил по ледяному мосту. Интересно же.

И ушёл к своей телеге, кривоногий, седой, ворча что-то под нос. Капрал пошёл за ним.

Алиса осталась у костра. Валериан стоял рядом.

— Спасибо, — сказала она.

— За что?

— За то, что не стали командовать.

Валериан помолчал.

— Бреннер прав, — сказал он. — В дороге неправый командир лучше, чем два правых. Это я его научил.

— Что?

— Двадцать лет назад. — Валериан смотрел на реку. — Мне было двенадцать. Отец взял меня с собой — инспектировать южные гарнизоны. Мы шли с обозом. С обозом молодого караванщика по фамилии Бреннер. Был спор у брода — кто командует, отец или Бреннер. Отец — герцог. Бреннер — караванщик. Отец сказал: «В дороге неправый командир лучше, чем два правых. Командуешь ты». — Пауза. —

Бреннер не помнит. Или помнит, но не говорит. А я помню.

Алиса смотрела на него. На резкий профиль в свете костра. На мокрые ещё, кажется, волосы. На руку в чёрной перчатке, — левую, ту, с ожогом, — которую он держал чуть на отлёте, как держат больную.

— Вы поэтому ему подчиняетесь?

— Я подчиняюсь ему потому, что он лучше меня знает дорогу, — сказал Валериан. — А ещё потому, что отец так делал. — Он повернулся к ней. — Спокойной ночи, леди Лейн.

— Спокойной ночи, ваша светлость.

Он ушёл. Алиса ещё долго сидела у костра одна, глядя на реку, и думала о двенадцатилетнем мальчике, который двадцать лет назад шёл с обозом по этой дороге. С отцом. Который тоже был в чёрном, наверное. Который сказал караванщику: «Командуешь ты».

Она открыла дневник. Написала при свете костра:

«Верста восемнадцатая. Мост — нет. Сваи — четыре, целы. Брёвна — на отмели у плёса. Вода поднимается к полудню. Утром — низкая».

Подумала. Добавила:

«Его светлость двадцать лет назад шёл этой дорогой с отцом. Ему было двенадцать».

На этот раз она не зачеркнула.

* * *

Брёвна достали к рассвету.

Работали в темноте, при факелах, и это было похоже на

что-то из старой легенды: тени, огни, ледяная вода, хриплые голоса, натужное «р-раз — два — взяли!», плеск, ругань. Бреннер командовал с берега, резко и коротко, и его слушались все — возчики, солдаты, Гуннар, Тим, даже глухой Ойген, который не слышал ни слова, но смотрел на Бреннерову руку и делал то, что рука показывала. Брёвна вытаскивали с отмели верёвками, по одному, волокли по мелководью к сваям, поднимали — сначала на каменную опору у берега, потом, с невероятным трудом, по одному, на дубовые сваи посередине.

Река к рассвету действительно спала — немного, на две ладони, но этого хватило. Сваи торчали из воды выше, буруны вокруг них стали ниже и не такими злыми.

Брёвен хватило на три пролёта из трёх. Впритык. Последнее бревно было короче остальных — его обломило где-то посередине — и легло косо, едва доставая до каменной опоры на том берегу.

— Хватит, — сказал Бреннер, оглядев. — Телега пройдёт. Если колесом не попадёт.

— А если попадёт?

— Тогда не пройдёт, — сказал Бреннер.

Алиса стояла на берегу, мокрая до колен, в Ветином шарфе, и смотрела на мост. Мост был — если честно — страшный. Брёвна лежали на сваях неровно, кое-где с щелями в ладонь, кое-где горбом. Вода под ними бурлила белым. Ветер с реки был ледяной. Небо на востоке едва светлело.

Валериан вышел на мост.

Он вышел просто, без всяких приготовлений — снял перчатки, сунул их за пояс и пошёл по брёвнам, по тому, первому, береговому пролёту, — легко, уверенно, как по полу собственного кабинета. Дошёл до первой дубовой сваи. Остановился. Присел на корточки. Положил обе ладони на брёвна.

И стало холодно.

Алиса почувствовала это раньше, чем увидела. Воздух вокруг моста вдруг сгустился, стал плотным, колючим, звенящим. У неё заломило зубы. Пар от дыхания стал гуще. Капли на её ресницах — от брызг реки — вдруг замёрзли, и она моргнула, и ресницы склеились. Возчики на берегу попятились. Капрал заскулил. Лошади в табуне на склоне беспокойно заржали.

А потом она увидела.

Под ладонями Валериана на брёвнах расцветал иней. Белый, пушистый, как мох, он полз от его пальцев во все стороны — по коре, по трещинам, в щели между брёвнами, — и там, где он проходил, дерево темнело, становилось влажным и тут же — блестящим, стеклянным. Вода, которая была в щелях, между брёвнами, под брёвнами, вода, которая брызгала с бурунов и оседала на дереве, — эта вода застывала. Сначала тонкой корочкой. Потом толще. Ещё толще. Брёвна срастались друг с другом прозрачными, голубоватыми, как стекло Олдоса, швами. Лёд полз дальше — к свае, обнимал её, сползал по ней вниз, к воде, и там, у самой воды,

где буруны бились о дуб, — там он рос гроздьями, наростами, сосульками, похожими на белые бороды, и вода, ударяясь о них, отскакивала с сердитым шипением.

Валериан встал. Прошёл до следующей сваи. Снова присел. Снова положил ладони.

Иней. Лёд. Швы. Бороды.

Третий пролёт. Короткое косое бревно, едва достающее до каменной опоры на том берегу. Валериан опустился на колени. Положил ладони. Держал долго — дольше, чем на первых двух. Алиса видела, как напряглась его спина. Как опустилась голова.

Лёд под его ладонями вдруг стал расти вверх и вбок, стремительно, как будто кто-то лил его из невидимого ведра. Он заполнил щель между концом короткого бревна и камнем. Обтёк камень. Сросся с ним. Образовал — Алиса видела это ясно — широкий, прочный, голубоватый язык, который лёг на опору, как ладонь на стол.

Валериан встал. Медленно. Обернулся.

Он стоял на том берегу. Один. На каменной опоре. Позади него была дорога на юг, впереди — ледяной мост, сверкающий в первых лучах рассвета, как огромная хрустальная лестница, перекинутая через бурую ревущую реку.

— Мастер Бреннер, — сказал он через реку. Голос был ровный. Не громкий, но его было слышно, несмотря на рёв. — Проверяйте.

Бреннер вынул трубку изо рта.

Постоял.

Сунул трубку в карман куртки. Застегнул куртку. Снял шапку, отдал её Тиму. Поправил нож на поясе.

И пошёл.

Он шёл по мосту медленно. Очень медленно. Останавливаясь на каждом шаге. Глядя под ноги. Притопывая сапогом — сначала тихо, потом сильнее. Лёд под ним не трещал. Не гудел. Только поскрипывал — тихо, как свежий снег.

Весь караван стоял на берегу и не дышал.

Вдова Пумм, кажется, впервые в жизни не пела. Глухой Ойген держал её за руку. Возчики стояли кучкой, сжимая шапки в руках. Солдаты герцога — чуть поодаль, но так же неподвижно. Гуннар стоял впереди всех, у самой воды. Тим — рядом с Алисой, со шляпой Бреннера в руках, и Алиса слышала, как стучат у него зубы — то ли от холода, то ли от страха, то ли от восторга.

Бреннер дошёл до первой сваи. Постоял. Посмотрел вниз, на белые ледяные бороды, о которые билась вода. Пошёл дальше.

Вторая свая.

Третий пролёт. Короткое косое бревно. Ледяной язык на камне.

Бреннер ступил на камень.

Обернулся.

— Ну, — сказал он через реку. — Чего встали? Тим! Пас-

тора — первым! Он ручьи не любит, так ему тут не ручей! Пусть идёт! Потом Лотту! Ворон тут нет! Живо, живо! Вода поднимается!

И караван ожил.

Первым пошёл Пастор — гнедой мерин Бреннера, который не любил ручьи. Пастор упирался, храпел, косил глазом на бурлящую воду под брёвнами, но Тим вёл его под уздцы и говорил ему что-то — тихо, ласково, на ухо, — и Пастор шёл. Медленно. Шаг за шагом. Телега за ним грохотала колёсами по ледяным брёвнам, и Алиса на берегу сжимала кулаки так, что ногти впивались в ладони. Телега прошла.

Вторая. Лотта, которая боялась ворон. Третья. Четвёртая. Тим возвращался за каждой — бегом по мосту, обратно, на этот берег, и снова вёл, под уздцы, на ухо, ласково. Бреннер стоял на том берегу. Валериан стоял рядом с ним — на каменной опоре, на коленях, положив ладони на ледяной язык.

Он держал.

Алиса видела, как он держит. Не руками — всем собой. Голова опущена. Плечи напряжены. Пальцы, лежащие на льду, — белые, неподвижные. Вокруг него, на камне, на земле, на прошлогодней траве, расползался иней — всё шире и шире, и пар от его дыхания стоял над ним облаком.

Пятая телега. Шестая.

Алисины телеги. Боцман, который умел притворяться, что тянет. На мосту Боцман не притворялся. Он тянул так, как не тянул никогда в жизни, — сам, без понуканий, вытя-

нув шею и прижав уши, и Тим, держа его под уздцы, смеялся сквозь стучащие зубы и говорил: «Вот видишь, видишь, можешь, когда хочешь!»

Седьмая. Кассиан, угрюмый, молча ведущий свою лошадь, и сундук на его телеге — привязанный верёвками, — и из сундука, Алиса могла бы поклясться, доносилось что-то, очень похожее на «Хвалу Пламени» в исполнении сильно напуганного кладовика.

Фургон вдовы Пумм. На новом колесе Бреннера. Мулы, тощие, серые, понурые, шли по льду, как по ковру, — им, кажется, было всё равно. Вдова Пумм сидела на облучке, закрыв глаза, и снова пела. Ойген правил. Он ничего не слышал — ни реки, ни песни, — и, может быть, поэтому правил спокойнее всех.

Всадники герцога. По одному. Ведя коней в поводу.

Солнце уже встало. Солнце било прямо в мост, и мост сверкал так, что больно было глазам, — и сверкание это было уже не совсем таким, как на рассвете. Алиса видела, как с ледяных бород у свай срываются капли. Одна. Другая. Много.

Вода поднималась.

— Леди! — Гуннар стоял рядом, держа под уздцы свою старую гнедую Вдову и Алисину лошадь. — Ваш черёд. Вы и я. Последние.

— Пустая телега, — сказала Алиса. — Последней должна была пойти пустая телега.

— Пустой нет, — сказал Гуннар. — Все гружёные. Командир сказал — вы и я. Последние.

Алиса посмотрела через реку. Валериан стоял на коленях на каменной опоре, опустив голову, положив ладони на лёд. Он не смотрел на неё.

Она пошла.

Лёд под ногами был скользкий. Это было первое, что она почувствовала, — и сразу, следом, второе: он был холодный. Холодный не так, как обычный лёд, а глубже, сильнее, — от него поднимался холод, пробирал сквозь подошвы сапог, сквозь чулки, до самых костей. И ещё — он гудел. Едва слышно, низко, на самой границе слуха. Как струна. Как натянутый канат.

Под ногами, сквозь прозрачные голубые швы между брёвнами, она видела воду. Бурую, бешеную, белую от пены. Совсем близко. В ладони.

Первая свая. Ледяные бороды. С них текло.

Вторая свая.

Мост под ногами качнулся.

Чуть-чуть. Едва заметно. Но Алиса почувствовала, и Гуннар позади почувствовал, и Вдова, старая гнедая кобыла, которая видела больше войн, чем король, вдруг захрапела и рванулась назад.

— Тихо, — сказал Гуннар. — Тихо, старая. Тихо.

Мост качнулся ещё раз.

Алиса посмотрела вперёд. На тот берег. На каменную опору.

Валериан всё ещё стоял на коленях. Но теперь — она это видела ясно — он стоял не прямо. Его клонило набок. Медленно, едва заметно, как клонится дерево, подрубленное у корня. Его ладони на льду — она видела и это — дрожали.

Он устал.

Он держал этот мост уже почти час — и с рассвета до этого ещё час промораживал, — и он устал. Так устают маги — она знала это по себе, по той ночи над Тобиасом Дроссом, когда она держала тепло до самого утра и потом не могла встать, — внезапно, сразу, как будто кончается вода в колодце. Был — и нет.

Мост качнулся в третий раз. Где-то под ногами, глубоко, звонко, как лопнувшая струна, — хрустнуло.

Алиса побежала.

Не к берегу — к нему. Мимо последнего пролёта, по короткому косому бревну, по ледяному языку на камне — она не помнила потом, как пробежала это, не поскользнувшись, — и упала рядом с ним на колени, на камень, на иней, и положила свои ладони поверх его.

Его руки были ледяные. Мёртвые. Она едва не отдёрнула свои.

Не отдёрнула.

Она закрыла глаза — и сделала то, что делала над Тобиасом. Над вонючими котлами в лавке. Над бусинкой стекла

в мастерской Олдоса. То, что она умела. Тепло. Не огонь — тепло. Не много — ровно столько, сколько нужно. Не в лёд — в него. В его ладони. Через свои.

Она почувствовала, как тепло уходит из неё, — и как он вздрогнул. Всем телом. Как будто его разбудили.

— Что вы... — начал он хрипло.

— Держите, — сказала Алиса, не открывая глаз. — Держите мост. А я буду держать вас.

— Вы растопите...

— Не растоплю. Я не в лёд. Я в вас. Вы — холод. Я — тепло. Это не мешает. Это... — Она не знала, как сказать. Не было слов. Было только чувство — как тогда, в Ворне, над картой, когда он держал её за руки и её руки были теплее. — Это как в печке. Нужна тяга. Холод сверху, тепло снизу. Тогда горит. Держите!

Он молчал секунду. Две.

Потом она почувствовала, как его ладони под её ладонями перестали дрожать.

Сзади, на мосту, снова хрустнуло. Громче. Гуннар заругался. Вдова захрапела. Застучали копыта.

— Прошли, — сказал Бреннер где-то сверху. Голос у него был хриплый, сорванный. — Прошли. Все. Отпускайте, ваша светлость. Отпускайте.

Валериан отпустил.

И мост — на глазах у всего каравана, у вдовы Пумм, у Тима, у возчиков, у солдат, — медленно, неторопливо, с огром-

ным, глубоким, протяжным стоном, похожим на вздох великана, — пошёл вниз. Ледяные швы лопались один за другим, со звоном, как стеклянные бусы. Брёвна расходились, кренились, переворачивались. Ледяные бороды отваливались от свай целыми глыбами и падали в воду. И через минуту река приняла всё — брёвна, лёд, бороды — и понесла вниз, к плёсу, к отмели, туда, откуда они пришли.

Остались только четыре сваи. Две каменные, две дубовые. Как и было.

Алиса всё ещё сидела на коленях на камне. Её ладони всё ещё лежали на его ладонях. Под ними был уже не лёд — мокрый камень. И его руки под её руками — она это чувствовала — понемногу, очень медленно, становились теплее.

Он поднял голову.

Лицо у него было серое. Не бледное — серое, как пепел, с синевой у губ. Глаза — запавшие, тёмные. На висках — иней. На ресницах — иней. Он посмотрел на неё — близко, очень близко, в двух ладонях, — и она увидела в его глазах что-то, чего никогда не видела раньше.

Она не знала, как это назвать. Не страх. Не удивление. Что-то вроде того, как смотрит человек, который всю жизнь жил в темноте, на первую свечу.

— Вы, — сказал он хрипло. — Вы побежали. По мосту. Который ломался.

— Вы падали, — сказала Алиса.

— Я не падал.

— Падали. Я видела.

— Леди Лейн...

— Ваша светлость, — сказала Алиса, — если вы сейчас скажете «я в порядке», я вас ударю. Честное слово. Прямо здесь. При Бреннере.

Валериан закрыл рот.

Помолчал.

— Я не в порядке, — сказал он наконец. Тихо. Как будто признавался в чём-то постыдном.

— Я знаю, — сказала Алиса. — Вы есть хотите?

Он посмотрел на неё так, как будто она спросила его о чём-то на чужом языке.

— Что?

— Есть, — сказала Алиса. — После магии всегда хочется есть. Ужасно. Я после Тобиаса съела целый котёл супа. Плохого. Тильда варила. — Она наконец убрала свои ладони с его. Её руки дрожали. Его — нет. — У меня есть пироги. Хильдины. Пять корзин. Ну, уже четыре. С капустой, с яйцом, с мясом, с рыбой. И с секретом.

— С каким секретом?

— Никто не знает, — сказала Алиса. — Похоже на морковь с изюмом.

Валериан смотрел на неё ещё секунду. Потом — она не поверила своим глазам — угол его рта, левый, тот самый, поднялся. Не чуть-чуть. Совсем. И сразу за ним — правый.

Он улыбался.

Тёмный герцог, генерал-командующий северной армией, Валериан фон Грант сидел на мокром камне у разрушенного моста, серый, в инее, без перчаток, и улыбался ей — устало, криво, совершенно по-мальчишески.

— С секретом, — сказал он. — Давайте с секретом.

Он съел четыре пирога. С секретом, с капустой, с мясом и ещё один с секретом. Сидя на камне у дороги, завернувшись в свой плащ, который ему принёс рыжий Дитрих. Молча. Сосредоточенно. Как солдат после боя. Алиса сидела рядом и подавала. Возчики Бреннера делали вид, что не смотрят. Бреннер делал вид, что не смотрит, особенно старательно, и курил трубку, отвернувшись к реке. Тим не делал вид — смотрел во все глаза, открыв рот, пока Бреннер не отвесил ему подзатыльник.

Вдова Пумм подошла, когда Валериан доедал пятый.

Она остановилась перед ними — круглая, румяная, в вишнёвом платье, с мокрым подолом — и посмотрела на них сверху. Сначала на Алису. Потом на герцога. Потом снова на Алису. Потом на их руки — Алисины лежали на коленях, герцогские держали пирог, и между ними было ладони две, не больше.

— Ваша светлость, — сказала вдова Пумм и сделала книксен. Круглый, глубокий, хоровой. — Розальда Пумм. Вдова. Из Хаммерталя. Сукно.

— Госпожа Пумм, — сказал Валериан, не переставая же-

вать.

— Хочу сказать спасибо, ваша светлость. За мост. За сукно. За всё.

— Благодарите леди Лейн, — сказал Валериан. — Это её идея.

— Ох, я её поблагодарю, — сказала вдова Пумм. — Я её так поблагодарю, что она запомнит. — Она снова посмотрела на них — сначала на одного, потом на другую. И глаза у неё сияли. — Я, ваша светлость, тридцать два года пою в хоре собора Святого Огня. И за эти тридцать два года я женила двадцать три пары.

— Женили?

— Ну, — скромно сказала вдова Пумм, — помогла. Подсказала. Познакомила. Подтолкнула. Двадцать три. И все — счастливые. Ну, почти все. Одна — Гретель Шмидт с её булочником — так себе, но это потому, что Гретель упрямая, а булочник глухой, как мой Ойген. — Она вздохнула. — Так вот. Я это к чему. У меня глаз, ваша светлость. Глаз. Хоровой. Я фальшь слышу за версту. И не-фальшь — тоже.

Она снова сделала книксен — ещё круглее, ещё глубже.

И ушла, напевая что-то весёлое. Про мельничиху и трёх солдат.

Валериан смотрел ей вслед, держа недоеденный пирог.

— Что она имела в виду? — спросил он.

— Понятия не имею, — сказала Алиса. Щёки у неё горели. — Наверное, хор.

— Наверное, — сказал Валериан.

Он доел пирог. Встал — осторожно, медленно, опираясь на камень. Пошатнулся. Алиса вскочила, подхватила его под локоть. Он не отстранился.

— Леди Лейн, — сказал он, глядя куда-то поверх её головы, на дорогу, на юг.

— Да?

— Мост рухнул бы, — сказал он. — Если бы вы не прибежали. Я бы его не удержал. Ещё минута — и не удержал бы. И Гуннар был бы в реке. И вы.

— Но я прибежала.

— Да, — сказал он. — Вы прибежали.

Он помолчал. Потом осторожно, очень осторожно, высвободил локоть из её рук.

— Спасибо, — сказал он. И ушёл к своим людям. Медленно. Но прямо.

Алиса стояла у дороги и смотрела ему вслед. Потом села обратно на камень, достала дорожный дневник и долго смотрела на чистую страницу.

Потом написала:

«Верста восемнадцатая. Переправились. Все. Мост из льда и брёвен простоял один час и десять минут (считал Клом, из сундука, вслух). Потом рухнул. Сваи — целы. Пошлина — не взималась (п. 3 ст. 6, Клом).

Лёд на текущей воде держится, если его всё время подпитывать. Подпитывать — тяжело. Если подпитывать того, кто

подпитывает, — держится дольше.

Холод сверху, тепло снизу. Как в печке. Нужна тяга».

Подумала. Перечитала.

Добавила внизу, совсем мелко:

«Он улыбается. Иногда. Обеими сторонами».

Зачеркнуть не успела — Тим подбежал звать её к телеге, — и так и закрыла дневник. С незачёркнутой строчкой.

Караван тронулся на юг. За спиной ревела Лиара, унося в бурой воде последние осколки голубого льда. Впереди светило солнце. Настоящее. Тёплое.

Двести шесть вёрст.

Глава 3. «Верста 40. Постоялый двор "Хромой гусь"»

Дорожный дневник: «Верста сороковая. Постоялый двор. Название честное: гусь действительно хромой. Всё остальное — нет».

Гуся звали Генерал.

Об этом Алиса узнала раньше, чем узнала, как зовут хозяина, хозяйку и сам постоялый двор, потому что Генерал встретил караван у ворот и атаковал. Атаковал он молча, без предупреждения, вытянув длинную белую шею и растопырив крылья, — и атаковал не кого-нибудь, а Валериана, который как раз спешивался.

Это было стремительно.

Только что герцог фон Грант стоял у ворот постоялого двора, перекидывая поводья через голову коня, — и вот уже он стоит, а в полу его чёрного плаща вцепился клювом огромный, грязновато-белый, разъярённый гусь и тянет его на себя, упираясь в землю перепончатыми лапами, из которых одна — левая — была кривая и короче другой.

Валериан посмотрел на гуся.

Гусь посмотрел на Валериана. Не выпуская плаща.

Караван замер.

Алиса успела подумать сразу о нескольких вещах. О том,

что сейчас гусь превратится в ледяную статую. О том, что в Ворне будут рассказывать: «тёмный герцог заморозил гуся». О том, что, наверное, это будет даже смешно — но гуся всё-таки жалко. И о том, что у Валериана сейчас такое лицо, какого она у него ещё никогда не видела, — лицо человека, который за тридцать два года жизни встречал горцев, убийц, королей, архимагов и метели, но ни разу — вот этого.

— Генерал! — завопили где-то во дворе. — Генерал, ах ты ж, Пламя тебя побери! Отпусти! Отпусти господина!

Из ворот выскочила женщина — маленькая, худая, в сером переднике, с лицом, бледным той бледностью, какая бывает у людей, которые давно и много работают и давно и мало спят. Она подбежала, схватила гуся поперёк туловища и потянула на себя. Гусь не отпускал. Женщина потянула сильнее. Плащ затрещал.

— Простите, господин! — Женщина чуть не плакала. — Простите, ради Пламени! Он всех так! Всех новых! Он думает, это его двор! Генерал, отпусти!

— Как его зовут? — спросил Валериан ровно.

— Генерал, господин.

Валериан помолчал.

— Подходит, — сказал он.

Потом наклонился, взял гуся двумя пальцами за клюв — аккуратно, у самого основания, — и легко, одним движением, разжал. Гусь, ошеломлённый таким обращением, выпустил плащ, зашипел, но клюв больше не открыл. Валериан

отпустил. Гусь отступил на два шага, хромая, и уставился на него круглым гневным глазом.

— Генерал, — сказал ему Валериан. — Вольно.

Гусь постоял. Подумал. Развернулся и, гордо хромая, ушёл во двор. Не оглядываясь.

Кто-то из возчиков засмеялся. Потом засмеялись все — и возчики, и солдаты, и вдова Пумм, своим первым сопрано, и даже Бреннер издал звук, который при некоторой фантазии можно было принять за кашель. Женщина в сером переднике прижимала руки к груди и всхлипывала от облегчения.

Алиса не смеялась. Алиса смотрела на Валериана, который отряхивал плащ — сосредоточенно, педантично, как будто ничего не случилось.

— Вы его не заморозили, — сказала она.

— Это гусь, — сказал Валериан. — Он охраняет свой двор. — Пауза. — Я его понимаю.

Постоялый двор «Хромой гусь» стоял на сороковой версте, в низине у ручья, там, где малая дорога на Вейльбург пересекалась с другой малой дорогой — на Ольшаны и дальше, к горным деревням. Место было бойкое: все, кто ехал на юг с Северной марки малыми дорогами, проезжали здесь. Все, кто ехал на север, — тоже. Купцы, возчики, гуртовщики, перегонявшие скот, монахи, бродячие лудильщики, мелкие дворяне, слишком бедные для Королевского тракта. Двор жил этим сто лет и, судя по всему, последние лет двадцать

— жил плохо.

Это было видно сразу.

Ворота покосились. Забор зиял дырами, кое-как заткнутыми хворостом. Двор был залит грязью по щиколотку, и посреди этой грязи стояла огромная лужа, в которой плавали солома, навоз и чья-то разбитая миска. Дом — двухэтажный, бревенчатый, когда-то крепкий и даже, наверное, красивый, с резными наличниками и с флюгером в виде гуся на крыше, — почернел, осел на один угол, как старик на больную ногу. Резные наличники облупились. Флюгер заржавел и смотрел, кажется, на север уже лет десять, независимо от ветра. Из трубы шёл дым — жирный, чёрный, вонючий.

А внутри...

Алиса вошла внутрь и остановилась на пороге.

Внутри был большой общий зал — с длинными столами, с лавками, с огромным очагом в дальнем конце. Под потолком — закопчённые балки, с которых свисали связки лука, чеснока, сушёных грибов и чего-то совсем уж неопознаваемого. Пол был земляной, присыпанный соломой — когда-то, давно. Теперь солома превратилась в слежавшуюся бурую массу, в которой что-то шуршало. Столы — липкие. Лавки — липкие. Стены — в копоти и в пятнах, о происхождении которых не хотелось думать. Воздух — густой, тяжёлый, сизый от дыма очага, который, судя по всему, не умел тянуть и выпускал половину дыма в зал. Пахло прогорклым жиром, кислым пивом, мокрой шерстью, потом, дымом, мышами и —

сквозь всё это, тонко, сладковато, узнаваемо — клопами.

Алиса знала этот запах. Знала с детства, с бабушкиной деревни, с одной страшной ночи в одном страшном доме у дальней родни, куда их с бабушкой однажды занесло. Запах раздавленных клопов — сладковатый, коньячный, тошный. Ни с чем не спутаешь.

— Ох, — сказала у неё за спиной вдова Пумм. — Ох. Опять.

— Вы здесь бывали?

— Каждый год, — сказала вдова Пумм. — Дважды. Туда и обратно. Тридцать два года. Тут, знаете, раньше хорошо было. При старом Брандле. При отце нынешнего. Чисто было. Пироги были. А теперь... — Она махнула рукой. — Теперь сплю в фургоне. С Ойгеном и с мулами. Мулы хоть не кусаются.

— А клопы кусаются? — спросила Алиса.

Вдова Пумм посмотрела на неё с жалостью.

— Деточка, — сказала она. — Здешние клопы — не кусаются. Здешние клопы едят. Как Генерал — хватают и тянут.

Хозяина звали Лукас Брандль.

Это был высокий, сутулый человек лет сорока пяти, с лицом мятым и серым, как несвежее бельё, и с глазами, в которых давно поселилась усталая покорность. Он вышел из-за стойки, вытирая руки о грязный передник, поклонился Бреннеру — они были знакомы, Бреннер останавливался тут

тридцать лет, — и сказал, что рад, рад, очень рад, что места есть, есть, конечно, есть, но...

— Но? — сказал Бреннер.

— Но немного, мастер Йост, — сказал Брандль, разводя руками. — Тут, видите ли... Вчера приехали. Господа. Из Вейльбурга. От барона Морса. Восемь человек. Все комнаты наверху заняли. Кроме одной.

— От барона Морса? — переспросила Алиса.

Брандль посмотрел на неё.

— А вы, госпожа...

— Леди Лейн, — сказал Бреннер. — Моя заказчица.

— Леди, — Брандль поклонился ниже. — Да, леди. От барона Морса. Скупщики. Едут на север, в горы, — говорят, за шерстью. А может, и не за шерстью, кто их знает. Платят хорошо. Пьют много. — Он вздохнул. — Шумят.

Из-за дальнего стола, у очага, донёсся взрыв хохота — пьяного, громкого, раскатистого. Там сидели люди — человек восемь, — в хороших дорожных кафтанах, в хороших сапогах, с хорошими, сытыми, раскрасневшимися от пива лицами. На столе перед ними стояли кружки, кувшины, блюдо с обглоданными костями. Один, постарше остальных, лет сорока, широкоплечий, с подстриженной каштановой бородкой и с массивной серебряной цепью на шее, что-то рассказывал, размахивая кружкой, и остальные хохотали.

На цепи у бородатого висел медальон. Алиса пригляделась.

Овечья голова. В венке из колосьев.

Она отвела глаза.

— Одна комната, — сказал Бреннер. — Значит, для леди. А мы — как всегда. В конюшне, на сеновале.

— На сеновале — да, — закивал Брандль. — На сеновале места сколько угодно. Только... — он замялся. — Только комната маленькая, мастер Йост. И кровать одна. Широкая, правда. Для двоих. Может, леди с госпожой Пумм...

— Ох, нет, — быстро сказала вдова Пумм. — Нет-нет-нет. Я — в фургоне. Ойген без меня боится. И мулы. Мулы, знаете, без меня совсем не спят. Плачут. Совершенно не могу их бросить.

Алиса посмотрела на неё. Вдова Пумм смотрела на неё круглыми, невинными, абсолютно честными голубыми глазами.

— Розальда, — сказала Алиса. — Вы только что говорили, что мулы не кусаются.

— Не кусаются, — согласилась вдова Пумм. — Но плачут. Это разные вещи. — И, повернувшись, удалилась к выходу, напевая.

Алиса смотрела ей вслед с нехорошим предчувствием.

Комната оказалась наверху, в самом конце коридора, под скатом крыши. Маленькая — шагов пять на четыре. Окно — одно, крошечное, затянутое бычьим пузырём, сквозь который едва пробивался серый свет. Кровать — широкая, де-

ревянная, с продавленным соломенным тюфяком, накрытым одеялом неопределённого цвета. Табуретка. Сундук для вещей — пустой, с отломанной крышкой. Гвоздь в стене — для плаща. Ночной горшок. Всё.

И запах.

Тот самый. Сладковатый. Коньячный.

Алиса отогнула край одеяла.

И очень быстро опустила обратно.

— Хозяйка, — сказал позади неё Клом. Его принёс Гуннар — сундук стоял у двери, крышка приподнята, из-под крышки торчали уши. — Хозяйка. Что там?

— Ничего хорошего, — сказала Алиса.

— Клопы?

— Клопы.

— Много?

— Клом, — сказала Алиса. — Я не стала считать. Но если бы я стала, мне бы понадобилась твоя помощь. И книжечка. Толстая.

Клом вылез из сундука. Подошёл к кровати. Отогнул край одеяла сам — своими цепкими ручками, брезгливо, двумя пальцами, как отгибают край дохлой мыши.

Постоял.

Опустил одеяло.

— Записываю, — сказал он сдавленно. — Нет. Не записываю. Это — не учёт. Это — война.

Алиса посмотрела на него. Он посмотрел на неё. Сморо-

диновые глазки сузились до щёлочек.

— Хозяйка, — сказал Клом. — Мы же не будем тут спать?

— Будем, — сказала Алиса. — Потому что больше негде. Но сначала...

— Сначала?

Алиса сняла плащ. Повесила на гвоздь. Засучила рукава.

— Сначала, — сказала она, — мы тут кое-что сделаем.

Клом посмотрел на её засученные рукава.

Его уши медленно поднялись.

— Кипяток? — спросил он с надеждой.

— Кипяток, — сказала Алиса. — Много. Щёлок. Полынь. Зола. Скребок. И мыло. Наше. «Северное лесное». Пять брусков. Нет, десять.

— Десять брусков — это шесть марок восемь грошей, — машинально сказал Клом. И тут же, без паузы: — Принесу.

* * *

Хозяйку «Хромого гуся» звали Майя.

Это была та самая маленькая, худая женщина в сером переднике, которая отнимала у Генерала герцогский плащ. Алиса нашла её на кухне — тёмной, закопчённой, жаркой, с огромным очагом, в котором что-то булькало в чёрном котле, и с низким потолком, о который Алиса чуть не ударилась головой. Майя резала лук. Резала быстро, мелко, привычно, и по её лицу текли слёзы — то ли от лука, то ли не от лука.

— Мне нужен кипяток, — сказала Алиса. — Много. Два котла. И щёлок, если есть. И зола.

Майя подняла на неё глаза. Покрасневшие, усталые.

— Зачем вам, леди?

— Клопы.

Майя опустила нож.

Она смотрела на Алису долго, и Алиса видела, как в её лице что-то меняется — медленно, мучительно, как будто человек пытается вспомнить, как улыбаются, и не может.

— Клопы, — повторила Майя. — Ох, леди. Простите. Простите, ради Пламени. Я знаю. Я всё знаю. Я сама... Я каждый день... Я не успеваю. Одна. Лукас — он... Он за стойкой. С гостями. Со счетами. А я — кухня, и бельё, и комнаты, и дочка у меня маленькая, и гусь этот проклятый, и...

Она вдруг закрыла лицо руками и заплакала. Тихо, бессильно, как плачут люди, которые очень устали и которым очень давно никто не задавал никаких вопросов.

Алиса постояла. Потом подошла, отобрала у неё нож. Положила на стол. Взяла её за руки.

— Майя, — сказала она. — Сколько у вас комнат?

— Ше... шесть, — всхлипнула Майя. — Наверху. И зал.

— А людей?

— Я. Лукас. Дочка — Анне, ей семь. Был работник, Курт, ушёл зимой. Не платили ему. Нечем было. — Она всхлипнула снова. — Раньше, при свёкре, было хорошо. Свёкор был хозяин. Его все знали. А потом он умер, Лукас взял двор, а Лукас... Он хороший. Он добрый. Но он не хозяин. Он не умеет. Всё в долг, всё в долг, гости не платят, а если и платят,

то... Он им пиво в долг наливает. Он людям отказать не может. А долги растут, а гостей всё меньше, потому что грязно, потому что клопы, а убирать некогда, потому что гостей нет и работников нет, а гостей нет, потому что...

— Потому что грязно, — сказала Алиса. — Понимаю. Круг.

Майя кивнула, давясь слезами.

— Майя, — сказала Алиса. — Я варю мыло. У меня в Ворне лавка. Я знаю, как выводить клопов. Не всех, не сразу, не навсегда — но знаю. Сегодня я выведу их из своей комнаты. Мне нужен кипяток. Вы дадите?

Майя посмотрела на неё. Вытерла лицо передником.

— Дам, — сказала она.

— Спасибо. И ещё. — Алиса помолчала. — Покажите мне, как вы стираете бельё.

Бельё «Хромой гусь» стирал в ручье за конюшней. В холодной воде, без мыла, колотя вальком на камне. Сушил на заборе. Не кипятил — никогда, не было ни котла достаточно большого, ни дров, ни времени.

Алиса посмотрела на это и ничего не сказала. Просто запомнила.

Потом они с Майей взяли два котла с кухни — самые большие, какие нашлись, — и Гуннар повесил их над костром во дворе, и Тим натаскал воды из ручья, и через полчаса во дворе «Хромого гуся» клокотал кипяток. Алиса бросила в

один котёл полынь — целую охапку, сухую, прошлогоднюю, которую нашла на чердаке, — и золу. Во второй — щёлок из своих запасов, из глиняной корчаги, привезённой из Ворна. И бруски «Северного лесного», настроганные ножом.

Пахло лесом. Пахло можжевельником, хвоей, смолой. Впервые, наверное, за двадцать лет над двором «Хромого гуся» пахло чем-то, кроме навоза.

Генерал подошёл посмотреть. Постоял у котла, вытянув шею, понюхал. Чихнул. Ушёл.

Потом Алиса с Кломом поднялись в комнату и начали войну.

Тюфяк — во двор. Сразу, не раздумывая. В ручей, потом — на костёр. Брандль, увидев, как горит его тюфяк, схватился за голову, но Алиса сказала «я заплачу» таким тоном, что он отпустил голову и больше её не хватал. Клом под одобрительное «записываю» вписал в книжечку: «Тюфякъ. Сожженъ. Восемь грошей. Хозяйка — права».

Одеяло — в котёл с щёлоком. Кипятить.

Кровать — разобрали. Клом знал, как разбирать кровати, — его дед, судя по всему, знал вообще всё, — и показывал, где пазы, где шипы, где клинья. Каждую доску, каждый брус — Алиса окатывала кипятком из ведра, потом тёрла щёткой с мылом, потом снова кипятком. В пазах, в щелях, в трещинах дерева, в углах — там клопы прятались гнёздами, сотнями, и кипяток выгонял их, и они расползались, и Клом давил их — методично, с остервенением, деревянной лопаточкой,

приговаривая что-то сквозь зубы на неизвестном Алисе кладовичьем наречии, которое звучало как сплошное проклятие.

Стены — кипятком. Пол — кипятком. Щели между половицами — кипятком, а потом, когда высохли, — Алиса залила их горячим воском со свечой, капля за каплей, как замазывают трещины в банке.

Потом — полынь. Пучки сухой полыни по углам, под кровать, за сундук, на подоконник. Клопы, как объяснил Клом, полынь ненавидят. Не умирают от неё, но уходят. Как от плохого запаха.

— А от хорошего? — спросила Алиса, отдуваясь.

— От хорошего — тоже уходят, — сказал Клом. — Клопы — как Хольт. Им надо, чтоб было плохо. Где хорошо — им нечего делать.

Алиса остановилась. Посмотрела на него. С ведром в руке.

— Клом, — сказала она. — Это очень мудро.

— Знаю, — сказал Клом. — Дед говорил. — Он раздавил очередного клопа. — Дед вообще много чего говорил. Зря я его не слушал.

Когда они закончили, было уже совсем темно. Комнату освещала одна свеча на подоконнике. Комната была мокрая, пахла полынью, щёлоком и лесом. Кровать собрана заново — голая, без тюфяка, без одеяла, но чистая: ни одного клопа. Алиса проверила с той самой свечой, щель за щелью, паз за

пазом. Ни одного.

Тюфяка не было. Одеяла не было — оно сушилось внизу, на верёвке у очага. Спать было не на чем.

— Плащ, — сказала Алиса, глядя на голую кровать. — Постелю плащ. Укроюсь шарфом Веты.

— А я — в сундуке, — сказал Клом. — У меня одеяло Берты. — Он посмотрел на неё. — Хозяйка. Хотите — дам. Одеяло. Берты.

— Нет, — сказала Алиса. — Тебе нужнее. Ты же без дома.

Клом помолчал. Потом молча полез в сундук.

И тут в дверь постучали.

* * *

Стук был короткий, два раза. Не громкий. Не тихий.

— Да? — сказала Алиса.

Дверь открылась. На пороге стоял Валериан.

Он был без плаща, в чёрной куртке, застёгнутой до горла. В руке — свёрток. Серый, толстый, туго скатанный.

— Леди Лейн, — сказал он.

— Ваша светлость.

Он посмотрел на комнату. На мокрые стены. На мокрый пол. На пучки полыни. На голую кровать. На свечу.

— Вы вывели клопов, — сказал он.

— Вывела.

— Сами.

— С Кломом.

— Сами, — повторил он, и в его голосе было что-то, по-

хожее на упрёк. — Весь вечер. После двух дней дороги. Вместо того чтобы поесть, лечь и спать.

— Я не могла спать с клопами, — сказала Алиса. — Вы бы смогли?

Валериан помолчал.

— Я спал с клопами, — сказал он. — В казармах. На перевалах. В крестьянских избах. В крепостях. Много лет. Привык.

— А я — нет, — сказала Алиса. — И не хочу привыкать. Это нехорошо, ваша светлость, — привыкать к клопам. Человек может привыкнуть ко всему. Именно поэтому — не надо.

Он смотрел на неё. Долгим своим взглядом. Потом шагнул в комнату и протянул ей свёрток.

— Это вам, — сказал он.

Алиса взяла. Развернула. Это было одеяло. Армейское, шерстяное, серое, грубое, толстое, пахнущее лошадью, дымом и — едва уловимо — морозом.

— Это же ваше, — сказала она.

— У меня есть плащ.

— Вы будете спать на сеновале. В плаще. В апреле. Ночью будет холодно.

— Я — холод, — сказал Валериан. — Я не мёрзну.

— Мёрзнете, — сказала Алиса. — Мы это уже обсуждали. У моста.

Он помолчал. Потом угол его рта — левый — чуть-чуть

дрогнул.

— Обсуждали, — согласился он. — Но одеяло всё равно ваше. Это приказ опекуна.

— У меня есть шарф Веты.

— Шарф Веты, — сказал Валериан, — в дырках. Я видел. Через него можно ловить рыбу.

Алиса открыла рот. Закрыла. Ветин шарф действительно был в дырках. Вета спускала петли.

— Спасибо, — сказала она наконец.

— Не за что.

Он повернулся к двери. И тут — снизу, из общего зала, — донёсся грохот. Падение чего-то тяжёлого. Звон разбитой посуды. И хохот — пьяный, раскатистый, многоголосый. И голос — громкий, хриплый, с южным выговором, растягивающим гласные:

— А где тут северная ведьма-а-а? А? Где ведьма? Я хочу на ведьму посмотреть! Говорят, красивая! Говорят, сама — как пряник! Хозяин! Хозяин, где ведьма?

Валериан остановился в дверях.

Не обернулся. Просто остановился. И Алиса увидела, как его рука на дверном косяке — правая, без перчатки — медленно, очень медленно, побелела. И по косяку, от его пальцев, пополз иней.

— Ваша светлость, — сказала Алиса тихо.

— Да.

— Не надо.

Он молчал.

Снизу снова захохотали. Кто-то затопал по лестнице — тяжело, неуверенно, спотыкаясь. Потом — голос Брандля, жалобный, умоляющий: «Господин, господин, не надо, господин, леди спит, леди с дороги...» Потом — грохот, как будто кто-то упал. Потом — ещё хохот.

— Ваша светлость, — повторила Алиса. — Это люди Морса. Скупщики. Восемь человек. Они нас не знают. Они не знают, кто вы. Если вы сейчас спуститесь и... и сделаете то, что вы хотите сделать, — завтра об этом будет знать весь южный тракт. А послезавтра — сам барон Морс. Он узнает, что северная ведьма едет в Вейльбург. С тёмным герцогом. Он узнает раньше, чем мы туда доберёмся. И приготовится.

Иней на косяке остановился.

— Это не единственное, чего я хочу, — сказал Валериан, не оборачиваясь.

— Я знаю, — сказала Алиса. — Но сейчас — не надо.

Шаги на лестнице. Всё ближе. Тяжёлые, пьяные.

Валериан повернулся — и закрыл дверь. Изнутри. И встал перед ней. Спиной к двери. Лицом к Алисе. Скрестив руки на груди.

— Что вы делаете? — шёпотом спросила Алиса.

— Стою, — сказал Валериан.

— Где?

— Здесь.

— Зачем?

— Затем, — сказал Валериан ровно, — что, если этот человек войдёт в эту дверь, ему придётся войти через меня. И тогда мне не надо будет никуда спускаться.

Шаги остановились за дверью. Совсем близко. Кто-то тяжело дышал — пьяно, с присвистом. Пахнуло пивом и чесноком — даже сквозь дверь.

— Ведьма-а-а, — сказал голос за дверью. — Ты тут? А? Открывай. Я тебе гостинец принёс.

Дверь дёрнулась.

Валериан не шевельнулся. Только опустил руки и положил правую ладонь на дверь. Плашмя. Рядом со щеколдой.

И Алиса увидела — в свете свечи, — как по дереву двери, от его ладони, расползается иней. Медленно. Тонко. Невидимо снаружи. В щели между дверью и косяком. В замочную скважину. В щеколду.

Дверь дёрнулась снова. Не поддалась. Дёрнулась сильнее. Заскрипела — и не поддалась.

— Э-э, — сказал голос за дверью озадаченно. — Заперто. Ведьма, открой! Ну чего ты! Я ж не обижу!

Дверь не открывалась. Дверь была теперь, Алиса это ясно понимала, одним куском с косяком — ледяным, прочным, как тот мост на Лиаре. Валериан стоял, положив на неё ладонь. Смотрел на Алису. Спокойно, без выражения.

— Тьфу, — сказал голос за дверью. — Холодная. Как ледяная. Ведьма! Ты что там, колдуешь? Ну и колдуй. Ну и сиди. Ну и... — Голос стал обиженным, по-детски обижен-

ным, каким бывает только у очень пьяных взрослых мужчин.
— Ну и не надо. Я ж просто посмотреть. Ланцо говорил, ты красивая...

Шаги удалились. Спотыкаясь. По лестнице вниз. Снизу снова взорвался хохот. «Ну что? Видел? Красивая?» — «Заперлась! Заколдовала дверь! Холодная — как могила!» — Хохот. — «Ведьма и есть ведьма!»

Валериан снял ладонь с двери. Иней на дереве начал таять — медленно, капельками.

— Он ушёл, — сказала Алиса.

— Ушёл.

— Спасибо.

Валериан посмотрел на неё. Потом — на кровать. Голую, без тюфяка. Потом — на табуретку. Одну.

Потом взял табуретку, поставил её у двери — спинкой к стене, вплотную к косяку, — и сел.

— Ваша светлость...

— Я посижу здесь, — сказал он. — До утра.

— Вы не можете.

— Могу.

— Ваша светлость, — сказала Алиса, чувствуя, как начинают гореть щёки, — вы не можете всю ночь сидеть в моей комнате. Это... это неприлично. Что скажут люди? Что скажет Бреннер? Что скажет Розальда? Ох, Пламя, что скажет Розальда...

— Леди Лейн, — сказал Валериан. — Внизу — восемь

пьяных людей барона Морса, которые хотят посмотреть на северную ведьму. Один из них уже приходил. Придёт второй. Или третий. Или все вместе, когда ещё выпьют. Я могу спуститься и объяснить им, кто я такой, — и тогда завтра вся дорога будет знать, что тёмный герцог едет в Вейльбург. Я могу встать у вашей двери в коридоре — и тогда сегодня вся эта гостиница будет знать, что у северной ведьмы под дверью стоит какой-то чёрный человек. Или я могу тихо посидеть здесь, на табуретке, у двери, и никто ничего не узнает. — Он помолчал. — Я ваш опекун. По королевскому указу. Я отвечаю за вашу безопасность. И за вашу репутацию тоже. Эта табуретка — наименьшее из зол.

Алиса смотрела на него. На табуретку. На него на табуретке — длинного, прямого, в чёрной куртке, застёгнутой до горла, со скрещёнными на груди руками.

— А я где буду спать?

— На кровати, — сказал Валериан. — На моём одеяле. Под шарфом Веты. В котором можно ловить рыбу.

Из сундука у двери раздалось тихое, но отчётливое хихиканье.

Валериан посмотрел на сундук.

— Клом, — сказал он.

— Ваша светлость, — сказал сундук.

— Ты всё слышал.

— Всё, — сказал сундук.

— Ты всё запишешь.

— Запишу, — сказал сундук. — Всё. Как было. Одна комната. Двое. Одна кровать. Одна табуретка. — Пауза. — И я. Свидетель. В сундуке. Буду свидетельствовать. Если надо. Перед Розальдой. Перед кем угодно. Всё — прилично. — Ещё одна пауза. — К сожалению.

— Клом! — сказала Алиса.

— Записываю, — сказал сундук и захлопнулся.

Свеча догорала.

Алиса лежала на кровати, на сером армейском одеяле, которое пахло лошадью, дымом и морозом, укрывшись своим плащом и сверху ещё Ветиным шарфом, — и не спала. Смотрела в потолок, в скат крыши, где между почерневших досок пробивались тонкие ниточки лунного света. В комнате пахло полынью и лесом. Внизу, в зале, ещё шумели — но тише, тише, сонно. Потом совсем затихли.

Валериан сидел на табуретке у двери. В темноте его почти не было видно — только смутный силуэт, длинный, прямой, неподвижный. Как часовой. Как статуя. Как тень.

Она не знала, спит он или нет. Не слышала его дыхания.

— Ваша светлость, — сказала она тихо, в темноту.

— Да.

Не спит.

— Вам не холодно?

— Нет.

— Неправда.

Пауза.

— Немного, — сказал он.

Алиса помолчала.

— Вы правда шли этой дорогой? Двадцать лет назад? С отцом?

— Правда.

— И остановились здесь? В «Хромом гусе»?

— Остановились. — Пауза. — Тогда тут было чисто. Был старый Брандль. Огромный, с бородой до пояса. И пироги. С гусятиной. И был гусь. Не этот. Его прадед, наверное. Тоже хромой.

— Тоже нападал?

— Нападал. — Пауза. — На отца.

Алиса тихо засмеялась.

— И что сделал ваш отец?

— Взял его за клюв, — сказал Валериан. — У основания. И разжал. И сказал: «Вольно».

Алиса перестала смеяться.

В темноте было тихо. Где-то за стеной поскрипывали стропила. Где-то внизу, во дворе, фыркнула лошадь. Где-то далеко, в ольшанике за ручьём, ухнула сова.

— Каким он был? — спросила Алиса. — Ваш отец?

Молчание. Долгое. Она уже думала, что он не ответит. Что она спросила слишком много, слишком далеко зашла в то место, куда он никого не пускал, — в тот заброшенный, вымороженный дом, где окна в восточном крыле девять лет ни-

кто не открывал.

— Строгим, — сказал Валериан наконец. — Справедливым. Молчаливым. Он почти не разговаривал со мной. Не умел. Он умел командовать, умел воевать, умел управлять маркой. А разговаривать со мной — не умел. — Пауза. — Мать умела. Мать разговаривала со мной за двоих. А Марика — за троих. Она вообще не умолкала. Целый день. С утра до вечера. Как Тим.

Алиса лежала неподвижно. Боялась шевельнуться.

— Марика — это ваша сестра, — сказала она тихо.

— Да.

— Ей было четырнадцать.

— Да. — Пауза. — Вы знаете?

— Берта рассказала. Давно. Ещё в Грантхольме. Летом.

— Берта, — сказал он. В голосе было что-то, похожее на усталую нежность. — Берта всегда всё рассказывает.

— Только хорошее, — сказала Алиса. — Она говорила, что Марика пела. Всё время. По всему дому. И что вы привезли ей с перевала птицу. Дрозда. В клетке. И что Марика выпустила его на следующий же день, потому что «он же грустит».

Молчание.

Долгое. Очень долгое.

— Он прилетал потом, — сказал Валериан. Голос у него был странный, совсем не такой, как всегда. Тихий. Глухой. Как будто откуда-то издалека. — Дрозд. Каждую весну. Са-

дился на яблоню у восточного крыла. Под её окном. И пел. Она говорила, это он её благодарит. — Пауза. — Я не знаю, прилетает ли он теперь. Я девять лет не был там весной.

Алиса закрыла глаза.

Она подумала об окнах в восточном крыле. О яблоне под окном. О старой, корявой яблоне, которую она видела прошлым летом и которая весной, — она это точно помнила, — в мае, цвела так, что всё восточное крыло тонуло в белом. Она подумала, не было ли там дрозда. Не помнила. Она тогда не смотрела на птиц. Она тогда отмывала полы.

— Я посмотрю, — сказала она. — Когда вернёмся. Весной. В мае. Я посмотрю, прилетает ли он.

Молчание.

— Посмотрите, — сказал Валериан. Очень тихо.

Свеча на подоконнике мигнула и погасла.

В полной темноте Алиса лежала и слушала — и наконец услышала. Его дыхание. Медленное, ровное, глубокое. Он уснул. Сидя. На табуретке. Спиной к стене. Как часовой, которого сморило под утро.

Она тихо встала. Ощупью, в темноте, нашла Ветин шарф. Подошла к двери. Постояла.

Потом осторожно, очень осторожно, чтобы не разбудить, — накрыла его шарфом. Плечи. Грудь. Скрещённые руки.

Шарф был в дырках. Через него можно было ловить рыбу.

Но это было лучше, чем ничего.

Он проснулся до рассвета. Она это знала, потому что проснулась вместе с ним — от тихого шороха, от лёгкого движения воздуха. Открыла глаза. Он стоял у двери и держал в руках Ветин шарф. Смотрел на него. Долго.

Потом аккуратно сложил — вчетверо, как солдат складывает знамя, — и положил на табуретку.

И вышел. Бесшумно. Как кот. Как снег.

Алиса лежала и смотрела на шарф на табуретке, пока не рассвело.

* * *

Утром «Хромой гусь» проснулся от запаха.

Запах был такой, какого здесь не было лет двадцать. Пахло можжевельником, хвоей, смолой — и ещё свежим хлебом, и жареным луком, и топлёным маслом. Пахло так, что люди Морса, спустившись к завтраку с мятыми лицами и больными головами, остановились на лестнице и стали принюхиваться, как собаки.

Внизу, в общем зале, всё было по-прежнему: липкие столы, закопчённые балки, бурая солома на полу, дымящий очаг. Но на очаге, в большом котле, булькало что-то золотистое и прекрасное. А у очага стоял Феб — в белом фартуке, с черпаком, с ямочками на щеках.

— Завтрак, господа! — сказал Феб. — Каша с маслом, свежий хлеб, яичница с салом! Хозяйка разрешила! Садитесь, садитесь!

— Ты кто? — спросил бородатый с серебряной цепью и

медальоном.

— Повар, господин. Из обоза мастера Бреннера. Хозяйка тут одна не справляется, вот я и помогаю.

Бородатый сел. Остальные тоже. Феб подал. Бородатый попробовал. Помолчал. Попробовал ещё.

— Чабрец? — спросил он.

— Чабрец, господин, — сказал Феб, улыбаясь.

— Хорошо варишь, — сказал бородатый. — Пойдёшь ко мне? В Вейльбург? Барону Морсу хорошие повара нужны.

— Ох, господин, — засмеялся Феб. — Я уже нанят. До Вейльбурга и обратно. С обозом.

— С обозом, значит, — сказал бородатый. Он посмотрел на Феба — внимательно, долго, — и Феб посмотрел на него в ответ, с улыбкой, с ямочками. — Ну, если передумаешь — спроси Ланцо. Ланцо Вирт. Меня в Вейльбурге всякий знает.

— Спрошу, господин, — сказал Феб. — Обязательно спрошу.

Алиса, спускавшаяся в этот момент по лестнице, видела это. Видела, как бородатый Ланцо смотрел на Феба, а Феб на Ланцо. Видела — и подумала только, что вот ведь, даже людям Морса нравится Фебова каша. И что Фебу, наверное, лестно. Ещё бы — сам Морс зовёт.

Она подумала это и спустилась вниз.

Ланцо Вирт поднял на неё глаза. Узнал — по рыжим волосам, по росту, по тому, как вчерашний пьяный рассказывал. Глаза у него стали насмешливыми.

— О, — сказал он. — Северная ведьма. Доброе утро, госпожа ведьма. Как спалось? Дверь не мёрзла?

Его люди захихикали.

— Спалось прекрасно, — сказала Алиса. — Без клопов. Впервые в этом доме, я полагаю.

Она прошла мимо них, к выходу. Ланцо проводил её взглядом.

— Слышь, ведьма, — сказал он ей в спину. — В Вейльбург едешь, да? На ярмарку? Мыло продавать?

Алиса остановилась. Обернулась.

— Еду.

— Ну-ну, — сказал Ланцо. — Езжай. Только зря. Нынче в Вейльбурге шерсти не будет. И льна не будет. Всё куплено. Барон купил. Вперёд. На корню. Ещё зимой. А то, что не купил, — купим мы. — Он кивнул на своих людей. — Мы вот в горы едем. За последним. Там ещё осталась шерсть — горская, грубая, на мешковину. Барону и она пригодится. Барон всё берёт. Так что, ведьма, — он ухмыльнулся, — ты там одна будешь со своим мылом. Мыться будешь. Одна.

Его люди захохотали.

Алиса смотрела на него. Спокойно. Долго.

— Горская шерсть, — сказала она. — Грубая. На мешковину.

— Ну, — сказал Ланцо.

— Спасибо, господин Вирт, — сказала Алиса. — Вы мне очень помогли.

И вышла во двор, оставив Ланцо с ложкой у рта и с выражением лица человека, который не понимает, за что его благодарят, и подозревает, что за что-то нехорошее.

Во дворе было солнце.

Настоящее, весеннее, яркое. Лужа посреди двора сверкала, как зеркало. Генерал плавал в ней, гордо выгибая шею. На заборе висело бельё — то самое, которое Алиса с Майей вчера, поздно вечером, уже после войны с клопами, прокипятили в двух котлах во дворе. Простыни, наволочки, одеяла, скатерти, полотенца, передники. Всё — белое. Почти. По крайней мере — светлее, чем было. Пахло на ветру лесом.

Майя стояла у забора и смотрела на бельё. С дочкой. Маленькой, худенькой, светловолосой Анне, которой было семь и которая держала мать за передник и тоже смотрела.

— Мам, — сказала Анне. — Оно белое.

— Белое, — сказала Майя.

— А раньше было серое.

— Раньше было серое.

— А почему?

Майя не ответила. Она обернулась — и увидела Алису. И её лицо — бледное, усталое, мятое — вдруг сделалось таким, что Алиса остановилась.

Майя улыбалась.

Неловко, неумело, как будто впервые за много лет. Но улыбалась.

— Леди, — сказала она. — Леди, я... Я не знаю, как вас... Это... Оно белое.

— Белое, — сказала Алиса.

— Я и не помню, когда оно последний раз было белое. При свёкре, наверное. — Майя всё смотрела на бельё. — Леди, как вы это?

— Кипяток. Щёлок. Мыло. Котёл большой. — Алиса подошла, встала рядом. — Майя. Котлы я вам оставлю. Свои. У меня их три, два возьму обратно, один — вам. И щёлока оставлю корчагу. И мыла — двадцать брусков. И полыни скажу, где нарвать. И ещё — я напишу вам. На бумаге. Как кипятить, как выводить клопов, как часто менять солому в зале. Вы умеете читать?

Майя покачала головой.

— Анне умеет, — сказала она. — Немножко. Её отец Матиас учил. Из часовни в Ворне. Мы зимовали там два года назад.

— Анне, — сказала Алиса, присаживаясь на корточки перед девочкой. — Ты умеешь читать?

Анне кивнула. Серьёзно, важно.

— Немножко.

— Я тебе напишу крупными буквами. А ты будешь маме читать. Хорошо?

— Хорошо, — сказала Анне. И, подумав, добавила: — А ты правда ведьма?

— Нет, — сказала Алиса. — Я мыловарка.

— А дядька вчера говорил — ведьма.

— Дядька вчера был пьяный, — сказала Алиса. — Пьяные дядьки всегда врут. Ты им не верь.

Анне подумала.

— А тот, чёрный? Который Генерала за клюв взял? Он тоже пьяный был?

— Нет, — сказала Алиса. — Тот — трезвый.

— А он кто?

Алиса помолчала.

— Он — мой опекун, — сказала она.

— А что такое опекун?

— Это человек, — сказала Алиса медленно, — который за тебя отвечает. По закону. Который должен следить, чтобы с тобой ничего не случилось.

Анне подумала ещё.

— Как папа?

— Нет, — сказала Алиса. — Не как папа.

— А как кто?

Алиса не нашла, что ответить.

— Ох, — сказали у неё за спиной. Круглым, поставленным, первым сопрано. — Ох, деточка. Хороший вопрос. Очень хороший. Задай его ещё раз. Лет через пять. Посмотрим, что тётя ответит.

Алиса обернулась. Вдова Пумм стояла в двух шагах — румяная, свежая, выспавшаяся, в чистом чепце, с корзинкой в руках. И смотрела на Алису с таким выражением, что Али-

са сразу поняла: вдова Пумм знает. Всё. Про комнату. Про табуретку. Про шарф.

— Розальда, — сказала Алиса угрожающе. — Ничего не было.

— Ох, я знаю, деточка, — сказала вдова Пумм безмятежно. — Я знаю. Клом мне рассказал. Утром. Подробно. С цифрами. Одна комната, двое, одна кровать, одна табуретка. Всё прилично. К сожалению. — Она вздохнула с бесконечным удовольствием. — Он у вас такой милый. Такой честный. Такой... подробный.

— Клом! — сказала Алиса, оборачиваясь к телегам.

Из-под парусины Алисиной первой телеги, где стоял сундук, донеслось короткое, деловое:

— Свидетельствую. Всё — по правде.

— Я тебя...

— Хозяйка, — сказал сундук. — Это — для вашей репутации. Розальда — первое сопрано. Розальда расскажет всему хору. Хор — всему Хаммерталю. Хаммерталь — всему югу. Пусть знают — прилично. — Пауза. — Его светлость велел. Про репутацию. Я выполняю.

Алиса открыла рот. Закрыла. Посмотрела на вдову Пумм. Вдова Пумм сияла.

— Ох, деточка, — сказала вдова Пумм нежно. — Двадцать три пары. Двадцать четвёртая будет самая красивая.

И ушла, напевая про мельничиху.

Они выехали из «Хромого гуся» через час.

Бреннер остался доволен: Брандль, растроганный и ошеломлённый, не взял с каравана платы за ночлег на сеновале. Сказал — за котлы, за мыло, за бельё. Бреннер, услышав это, долго смотрел на Алису, потом сказал: «Тридцать один год езжу через «Гуся». Первый раз даром». Пауза. «Может, и правда — баба в караване не всегда беда». Ещё пауза. «Иногда — две».

Люди Морса уехали раньше — на северо-запад, к горам, за горской шерстью. Уехали шумно, с песнями, с похмелья. Ланцо Вирт, проезжая мимо Алисы, снова ухмыльнулся и помахал ей рукой — насмешливо, с седла.

Феб помахал им вслед. С ямочками.

Алиса сидела на облучке рядом с Тимом и смотрела на дорогу. Дорога шла вверх, по склону, сквозь молодой березняк, который только-только начинал зеленеть — нежно, прозрачно, как зелёный дым. Солнце пригревало. Пели птицы.

— Леди, — сказал Тим. — А что вы тому, бородатому, сказали? «Вы мне очень помогли»? Чем он помог-то?

Алиса посмотрела на него.

— Тим, — сказала она. — Ты знаешь, что такое горская шерсть?

— Ну, — сказал Тим. — Знаю. Грубая. Колючая. Мамка из неё мешки шьёт. И половики. Для одёжи — не годится. Колется ужасно. — Он поёжился. — У меня была рубаха из горской. Мамка сшила, когда денег не было. Я в ней неделю

ходил, весь исчесался. Потом мамка её на половик пустила.

— Колется, — сказала Алиса.

— Ужасно.

— А почему колется?

Тим посмотрел на неё как на сумасшедшую.

— Ну... грубая же. Волосины толстые. Жёсткие. Торчат.

— Торчат, — сказала Алиса. — Во все стороны. Потому что лежат как попало. А если бы не торчали? Если бы лежали ровно? Плотно? Одна к одной? Как... — Она поискала сравнение. — Как солома в хорошей крыше?

Тим подумал.

— Тогда бы не кололась, — сказал он неуверенно.

— Тогда бы не кололась, — сказала Алиса. — А ещё — была бы тёплой. Очень тёплой. Горская шерсть — она ведь с горских овец, а горские овцы живут на перевалах. Там, где ветер. Где снег. Где мороз. Их шерсть — самая тёплая. Самая непродуваемая. Только колется.

— Ну, — сказал Тим.

— А барон Морс, — сказала Алиса, — скупил всю тонкую шерсть. Мягкую. Красивую. Ту, из которой шьют дорогие платья. А горскую — грубую — «на мешковину». — Она смотрела на дорогу. — Он думает, что горская шерсть — мусор.

Тим помолчал. Потом медленно повернул к ней голову. Глаза у него стали круглые.

— Леди, — сказал он. — Вы что-то придумали.

— Не знаю, — сказала Алиса. — Может быть. Надо попробовать.

— А что?

— Не скажу. Пока. — Она улыбнулась. — Правь давай. Боцман опять притворяется.

— Боцман! — заорал Тим. — Я тебя вижу!

Боцман вздохнул.

А Алиса открыла дневник и написала:

«Верста сороковая. "Хромой гусь". Клопов в одной комнате — нет. В остальных пяти — есть. Пока.

Хозяйке Майе оставлен котёл, щёлок, мыло. Написано крупными буквами, как кипятить. Читать будет Анне, семь лет.

Люди Морса едут в горы за горской шерстью. Грубой. "На мешковину". Ланцо Вирт, бородатый, медальон с овечьей головой.

Горская шерсть колется, потому что волокна лежат как попало. А если — не как попало?»

Подумала. Добавила:

«Дрозд. Восточное крыло. Яблоня. Май».

И подчеркнула. Дважды.

Потом закрыла дневник и долго смотрела вперёд, на дорогу, на зелёный дым березняка, на чёрного всадника, который ехал справа, по обочине, не глядя на неё, и что-то записывал в маленькую книжечку.

На плечах у него — Алиса заметила это не сразу — по-

верх чёрного плаща был обмотан шарф. Синий. Кривой. В дырках.

Ветин.

Она не помнила, чтобы отдавала его.

Она вообще не помнила, куда он делся утром, — думала, оставила на табуретке, в комнате, — и уже успела расстроиться, что забыла.

А он был — там. На нём.

Алиса закрыла дневник. Открыла снова. Написала, совсем мелко, в самом низу страницы:

«Шарф Веты — у него. Не просил. Взял сам».

Подумала.

Не зачеркнула.

Глава 4. «Верста 61. Ярмарка в Лисьем Броде»

Дорожный дневник: «Верста шестьдесят первая. Лисий Брод. Брод есть, лис нет. Есть ярмарка. Ярмарка — конская. Это мы узнали, когда приехали. Мыла здесь никто не ждал. Лошади тоже не ждали. Но лошадям понравилось».

— Вожжи — не верёвки, — сказал Тим. — Вожжи — это разговор.

— С кем?

— С лошадью, — сказал Тим терпеливо, как говорят с маленькими детьми и очень бестолковыми взрослыми. — Вы ей говорите — она слушает. Она вам говорит — вы слушаете. Через вожжи. Понимаете?

— Нет, — честно сказала Алиса.

Она сидела на облучке своей первой телеги, на месте возчика, с вожжами в руках, и чувствовала себя примерно так же, как в первый день на курсах вождения — там, в Твери, двадцать с лишним лет назад, когда инструктор, усатый и меланхоличный Геннадий Петрович, посадил её за руль учебной «девятки» и сказал: «Ну, трогай». Она тогда тронула так, что «девятка» прыгнула вперёд, как испуганный заяц, а Геннадий Петрович ударился головой о стекло и потом всю оставшуюся жизнь, кажется, разговаривал с ней только

шёпотом.

Боцман не был «девяткой». У Боцмана не было ни педалей, ни ручного тормоза, ни зеркал. У Боцмана были уши, хвост, огромный круп, ленивый характер и свои представления о жизни. И, судя по тому, как он косил на неё через плечо выпуклым карим глазом, — представления эти Алису пока не включали.

— Смотрите, — сказал Тим. Он сидел рядом, на краю облучка, и показывал руками. — Вожжи держите мягко. Не тяните. Не дёргайте. Просто держите. Чтобы он чувствовал, что вы есть. Как будто вы его за руку держите.

— За копыто.

— За морду, — поправил Тим. — Через удила. Вот. Мягко. — Он поправил её пальцы. — Не сжимайте. Вы сжимаете. Он чувствует, что вы боитесь.

— Я не боюсь.

— Боитесь, — сказал Тим. — Я по Боцману вижу. Видите — уши назад. Он думает: «Чего это она? Чего она сжимается? Может, там волк?»

Алиса посмотрела на уши Боцмана. Уши действительно были прижаты назад.

— А как сделать, чтобы не боялась?

— Ну... — Тим задумался. — Подумайте о хорошем. О чём-нибудь тёплом. О... не знаю... о пирогах.

Алиса подумала о пирогах. С секретом. И о том, как Валериан у моста съел два с секретом подряд и улыбнулся обе-

ими сторонами.

Уши у Боцмана поднялись.

— Во! — восхитился Тим. — Видите? Видите? Он почувствовал! О чём вы подумали?

— О пирогах, — сказала Алиса и покраснела.

Тим посмотрел на неё, на её покрасневшие щёки, потом через плечо — на правую обочину, где ехал чёрный всадник с синим дырявым шарфом на шее, — и широко, понимающе, совершенно бессовестно ухмыльнулся.

— О пирогах, — повторил он. — Ага. Ну, думайте дальше. О пирогах. Боцману нравится.

— Тим.

— Чего?

— Ничего, — сказала Алиса. — Дальше учи.

Учил Тим хорошо. Это Алиса поняла к концу первого дня. Не потому, что он знал какие-то особые секреты, — хотя знал, конечно, — а потому, что он любил то, чему учил. Он говорил о лошадях так, как Олдос говорил о стекле, как Матильда — о мыле, как Клом — о сальдо. С тем особенным светом в глазах, который бывает у людей, нашедших своё. В шестнадцать лет. В Нижнем квартале Ворна. Без отца, без денег, без лошади.

— Вот — «но», — говорил Тим. — Это — вперёд. Но не кричите. Боцман не глухой. Если кричать — он думает, что вы злитесь. А если злитесь — значит, он виноват. А если ви-

новат — зачем стараться, всё равно попадёт. — Он вздохнул. — Как люди.

— А «тпру»?

— «Тпру» — стой. Это — вожжи на себя. Тихонько. Не рывком. Рывком — ему больно. А если ему больно — он запомнит. И в следующий раз, когда вы вожжи возьмёте, — испугается. — Пауза. — Отец мой, когда пил, рывком дёргал. Лошадь у нас потом всех боялась. Даже меня.

Алиса посмотрела на него. Тим смотрел на дорогу. Лицо у него было спокойное, без обиды, без горечи. Просто говорил.

— А потом? — спросила Алиса.

— Потом я её отучил, — сказал Тим. — Полгода. Каждый день к ней ходил. Говорил. Гладил. Морковку носил. Она потом за мной как собака ходила. — Он улыбнулся. — Её продали, когда отец помер. Я плакал. Мне десять было. Стыдно, а плакал.

— Не стыдно.

— Стыдно, — сказал Тим. — Мужчины не плачут. Мамка говорит.

Алиса помолчала.

— Тим, — сказала она. — Мужчины плачут. Я видела.

Тим покосился на неё.

— Кто?

— Мастер Дросс, — сказала Алиса. — Над внуком. В феврале. Когда Тобиас открыл глаза и сказал «деда, а почему ты

плачешь?». Дросс плакал. Самый богатый человек в Ворне. Глава гильдии. Плакал так, что борода мокрая была.

Тим долго молчал. Боцман, почувствовав, что вожжи ослабли, немедленно сбавил шаг.

— Дросс, — сказал Тим наконец. — Надо же. — И, помолчав ещё: — Это когда Пауль болел. Мамка тоже плакала. Я видел. Ночью. Думала, я сплю. — Пауза. — А вы тогда пришли. С котлом. Кипяток раздавали. Пауль на третий день встал. — Он вдруг обернулся к ней, и глаза у него были очень серьёзные. — Леди. Я вам тогда спасибо не сказал. Я тогда... я не умел. Я маленький ещё был.

— Это было два месяца назад, — сказала Алиса.

— Ну, — сказал Тим. — Маленький. А теперь — большой. Говорю. Спасибо.

Алиса не нашлась, что ответить. Только кивнула.

Тим отвернулся к дороге, хлюпнул носом и вдруг заорал — громко, звонко, совершенно не по-тимовски:

— Боцман! Ты опять! Я тебя вижу! Леди, «но» ему! Тихонько!

— Но, — сказала Алиса. Тихонько.

Боцман вздохнул — и пошёл.

К вечеру второго дня после «Хромого гуся» Алиса правила сама. Неуверенно, медленно, с Тимом под боком, с ушами Боцмана, которые то поднимались, то опускались, — но сама. Без рывков. И Боцман, кажется, начал её уважать.

Немного. Чуть-чуть.

А на третий день, утром, когда до Лисьего Брода оставалось вёрст пять, она заехала в канаву.

Это было не её вина. Ну, не совсем её. Дорога в этом месте шла по склону, вдоль оврага, узкая, с глубокими колеями, а навстречу из-за поворота неожиданно выехала крестьянская телега с горой сена, и Алиса потянула вожжи — правую, как учил Тим, мягко, — а Боцман вдруг решил, что мягко — это не по-настоящему, и не послушался. А потом, когда она потянула сильнее, — послушался слишком. И телега, накренившись, медленно, с достоинством, как корабль, идущий ко дну, съехала правыми колёсами в канаву, полную талой воды.

И застряла.

Тим, сидевший рядом, успел спрыгнуть. Алиса — нет. Она осталась сидеть на облучке, накренённом под углом градусов в тридцать, с вожжами в руках, по щиколотку в воде, которая плескалась у самого края облучка. Боцман стоял на дороге — левыми ногами — и в канаве — правыми, — и смотрел на неё через плечо выпуклым карим глазом. С укоризной.

— Ой, — сказала Алиса.

— Ничего, — бодро сказал Тим с дороги. — Ничего, леди! Это бывает! Со всеми бывает! Я в первый раз вообще в реку заехал! С отцом! Он меня потом неделю...

Он осёкся.

Потому что на дороге, рядом с ним, бесшумно остановился чёрный конь. И чёрный всадник с синим шарфом на шее посмотрел сверху вниз на телегу в канаве, на Боцмана, на воду и на Алису, сидящую на облучке под углом тридцать градусов.

Алиса закрыла глаза.

— Не надо, — сказала она. — Ничего не говорите. Пожалуйста.

Валериан ничего не сказал.

Он спешился. Бросил поводья Тиму. Подошёл к канаве. Посмотрел на колёса. На воду. На склон оврага. Потом — молча — снял перчатки, сунул их за пояс и полез в канаву.

— Ваша светлость, не надо, — сказала Алиса. — Там же холодно. Там вода. Сейчас Гуннар подъедет, и возчики, и...

Валериан встал в канаве — по колено в воде — у правого заднего колеса. Положил на него ладони. Наклонился. И Алиса почувствовала — уже знакомо, уже узнаваемо, — как воздух вокруг сгустился и стал звенящим. Вода в канаве под колесом — она видела это сверху — помутнела, побелела, загустела. Схватилась. Твёрдо. Ледяной коркой, толстой, как доска.

— Тим, — сказал Валериан, не оборачиваясь. — Веди. Медленно.

— Есть, ваша светлость! — гаркнул Тим, сияя.

Он схватил Боцмана под уздцы. «Но, — сказал он, — тихонько». Боцман посмотрел на Тима, потом на Алису, потом

на чёрного человека в канаве — и, кажется, решил, что с этим человеком лучше не спорить. Потянул. Колесо, упёршись в ледяную корку, как в доску, медленно, со скрежетом, выползло из канавы. За ним — переднее. Телега качнулась, выровнялась и встала на дороге. Всеми четырьмя колёсами. Сухо.

Валериан вылез из канавы. Мокрый по колено. Отряхнул ладони. Надел перчатки. Забрал у Тима поводья. Вскочил в седло.

И только тогда посмотрел на Алису.

— Правая вожжа, — сказал он. — Мягче. Боцман любит, когда мягче. Но не настолько мягче, чтобы он думал, что вы шутите.

И уехал. На свою обочину. Не оглядываясь.

Алиса сидела на облучке — теперь уже ровном — с вожжами в руках и смотрела ему вслед. Щёки горели так, что, кажется, можно было греть ими руки.

— Леди, — сказал Тим восторженно, забираясь обратно на облучок. — Леди, вы видели? Видели? Он сам! В канаву! Сам! Герцог! Тёмный! В канаву! За нашей телегой!

— Видела, — сказала Алиса.

— Вот это да, — сказал Тим. — Я мамке расскажу — не поверит. — Он посмотрел на неё. Хитро. — А почему он сам? Мог бы солдата послать. У него их десять.

— Не знаю, — сказала Алиса.

— Знаете, — сказал Тим.

— Тим.

— Чего?

— Правь, — сказала Алиса, суя ему вожжи. — Я больше не буду. Сегодня.

— А о пирогах думать будете? — невинно спросил Тим.

Алиса посмотрела на него так, что он немедленно заорал на Боцмана.

* * *

Лисий Брод оказался не городом и не деревней, а чем-то средним — большим торговым селом у переправы через речку Лису, приток Лиары. Речка была неширокая, но быстрая, с каменистым дном, и брод через неё — мелкий, крепкий, мощёный ещё бог знает когда плоскими камнями, — был единственным на тридцать вёрст вверх и вниз по течению. Поэтому все дороги здесь сходились. И поэтому здесь, раз в месяц, с апреля по октябрь, собиралась ярмарка.

Апрельская ярмарка в Лисьем Броде была конской.

Алиса этого не знала. Бреннер, может быть, знал, но не сказал — то ли забыл, то ли решил, что это неважно. Для Бреннера это действительно было неважно: он останавливался в Лисьем Броде, чтобы перековать лошадей, закупить овса и дать каравану день отдыха перед болотами. А для Алисы...

Алиса въехала на ярмарочную площадь — широкий выгон у реки, утоптанный, грязный, весь в навозе, — и остановилась.

Лошади.

Лошади были везде. Сотни лошадей. Может быть, тысяча. Они стояли у коновязей, бродили на привязи, толпились в загонах из жердей, ржали, фыркали, били копытами, вскидывали головы. Гнедые, вороные, серые, рыжие, пегие, буланые, чалые. Тяжёлые северные тяжеловозы с мохнатыми ногами, похожие на ожившие сараи. Маленькие лохматые горские лошадки, злые, как осы. Длинноногие южные скакуны — тонкие, нервные, с лебедиными шеями и глазами испуганных ланей. Старые клячи с провисшими спинами, которых продавали «на шкуру». Жеребята-стригунки, тонконогие, смешные, прыгающие вокруг матерей.

И люди. Барышники в долгополых кафтанах, с хлыстами за поясом, с хитрыми глазами. Крестьяне в овчинах, пришедшие купить себе пахаря. Мелкие дворяне в потёртом бархате, приценивающиеся к верховым. Цыганистого вида смуглые люди с серьгами в ушах, гнавшие табун с юга. Кузнецы с молотами, ветеринары-коновалы со своими страшными сундучками. И мальчишки — сотни мальчишек, — которые шныряли между лошадьми, держали под уздцы, бегали с вёдрами, клянчили грош «за посмотреть».

Пахло так, что у Алисы заслезились глаза.

— Ох, — сказала она.

— Ох, — сказал рядом Тим совершенно другим тоном.

Алиса повернулась к нему. Тим сидел на облучке, вцепившись обеими руками в доску, и смотрел на ярмарку. Смотрел так, как, наверное, смотрел бы голодный на пиршественный

стол, или влюблённый — на окно возлюбленной, или Олдос — на прозрачное стекло. Рот приоткрыт. Глаза — огромные, сияющие. Веснушки на побледневших щеках — ярче, чем обычно.

— Тим, — сказала Алиса.

— А? — сказал Тим, не отрывая глаз.

— Иди.

Тим медленно повернулся к ней.

— Куда?

— Туда, — сказала Алиса, кивая на ярмарку. — Смотреть. Мы тут до завтра. Бреннер сказал. Телеги я сама распрягу. Иди.

— Но... — Тим заморгал. — Но надо же... Боцман... ящики...

— Тим, — сказала Алиса. — Иди. Это приказ. Хозяйский.

Тим смотрел на неё ещё секунду. Потом — молча, без единого слова — спрыгнул с облучка и исчез в толпе. Просто исчез. Как камень в воде. Только мелькнул рыжий вихор между крупами и гривами — и всё.

Алиса посмотрела на Боцмана.

Боцман посмотрел на неё.

— Ну что, — сказала Алиса. — Будем распрягаться? Ты мне только скажи как.

Боцман вздохнул.

Распрягаться помог Кассиан — угрюмый возчик второй

телеги, который подошёл, молча отстранил Алису и за три минуты сделал то, на что у неё ушло бы полчаса. Сказал при этом одно слово: «Так». Алиса поблагодарила. Кассиан кивнул и ушёл. Это было уже седьмое слово, которое она от него слышала.

Потом она пошла посмотреть, что продают.

Продавали всё, что нужно лошадям и людям, которые с лошадьми работают. Сёдла, сбрую, уздечки, подковы, гвозди, попоны, скребницы, щётки, торбы, овёс, отруби, соль-лизунец, конские мази в глиняных горшочках, конские снадобья от колик, от мокреца, от мыта, от сглаза. Кнуты, хлысты, плётки. Колёса, оси, дёготь. Кафтаны для возчиков, рукавицы, сапоги. Пиво, сбитень, пироги, печёную репу, сало, лук.

Мыла не продавал никто.

— Не берут, — сказал Алисе пожилой торговец сбруей, когда она спросила. — Мыло — это для городских. Для бар. Тут кто покупать будет? Возчики? Барышники? — Он засмеялся. — Барышнику мыло ни к чему. Он и так скользкий.

Алиса поблагодарила и пошла дальше. Думать.

Она ходила по ярмарке час. Смотрела. Слушала. Как всегда — там, в Твери, на каждой новой ярмарке мастеров, — она сначала смотрела, а потом решала. Кто покупает. Что покупает. За сколько. Почему. Чего не хватает. На что жалуются.

Жаловались на одно и то же. Барышники — на покупателей: «Не берут! Лошадь — золото, а не берут! Говорят —

грязная! А что я сделаю? Мы с юга гнали, двести вёрст, по грязи! Где я её отмою? В Лисе? Вода ледяная, лошадь простудится!» Покупатели — на барышников: «Что за лошадь, не видно! Вся в грязи! Под грязью — может, парша. Может, лишай. Может, сбитая спина. Как купить, если не видно?»

Алиса остановилась у загона с южными лошадьми. Посмотрела. Лошади были красивые — это было видно даже сквозь грязь. Высокие, тонконогие, с длинными шеями. Но грязь была везде — на ногах до колен, на боках, на животах, в гривах, в хвостах. Засохшая, коркой, комками. Барышник — смуглый, с серьгой, с отчаянием в глазах — стоял у загона и уговаривал какого-то дворянчика в потёртом бархате.

— Господин, вы посмотрите, какая стать! Какие ноги! Какая шея! Это же южная кровь, из-под самого Каррада!

— Не вижу, — сказал дворянчик брезгливо. — Грязь одна. Может, она хромая. Может, у неё на спине болячка. Отмой — тогда посмотрю.

— Да где ж я отмою, господин! Вода ледяная!

Дворянчик пожал плечами и ушёл.

Барышник посмотрел ему вслед и сказал что-то на своём языке — коротко, сочно, с чувством.

Алиса подошла.

— Господин барышник, — сказала она. — Сколько вы хотите за вот эту? Серую?

Барышник посмотрел на неё. С подозрением. На рыжие волосы, на дорожное платье, на Ветин шарф... нет, шарфа не

было, шарф был у Валериана. На чепец — коричневый.

— Вы покупаете, госпожа?

— Нет, — сказала Алиса. — Я продаю.

— Что?

— Мыло, — сказала Алиса. — Для лошадей. И горячую воду. И руки, которые будут мыть.

Барышник смотрел на неё так долго, что Алиса начала подозревать, что он не понимает по-асдерийски. Потом он медленно сказал:

— Мыть. Лошадь.

— Мыть лошадь, — сказала Алиса. — Тёплой водой. С мылом. Не ледяной. Тёплой. Чтобы не простудилась. А потом насухо вытереть. И расчесать гриву. И хвост. И копыта смазать. Чтобы блестела. Чтобы было видно — какая стать, какие ноги, какая шея. Южная кровь. Из-под самого Каррада.

Барышник молчал.

— Сколько стоит ваша серая? — повторила Алиса.

— Шесть крон, — машинально сказал барышник.

— А сколько вы за неё получите, если её отмыть?

Барышник посмотрел на серую кобылу. Посмотрел долго. Алиса видела, как в его глазах что-то щёлкает, переключается, считает — как у Клома, когда тот сводит сальдо.

— Восемь, — сказал барышник медленно. — Может, девять. Если ноги чистые. — Он помолчал. — Если ноги чистые — десять.

— Мытьё одной лошади, — сказала Алиса, — будет стоить вам две марки.

Барышник смотрел на неё ещё секунду. Потом вдруг засмеялся — громко, белозубо, на всю ярмарку.

— Госпожа, — сказал он, — вы — с ума сошли. Две марки — за мытьё? Да где ж это видано!

— Нигде, — согласилась Алиса. — Поэтому — две марки. Завтра будет — три. Послезавтра — пять. — Она улыбнулась. — Через год во всех ярмарках Асдерии будут мыть лошадей. Но сегодня, господин барышник, — только здесь. И только у меня.

* * *

Через два часа у Алисиных телег, на краю ярмарочной площади, у самой реки, кипели три котла.

Один — с водой из Лисы, грелся на костре. Второй — тоже с водой, но уже тёплой, с настроганным «Северным лесным» — пенился. Третий — с чистой тёплой водой, для полоскания. Алиса держала руки над котлами, по очереди, — не грела, нет, просто держала тепло, ровное, тихое, как держала его над мыльными котлами в лавке, — чтобы вода не остывала. Гуннар — однорукий, но от этого не менее грозный — стоял у края площадки и не пускал любопытных слишком близко. Возчики Бреннера — шесть человек, которых Бреннер, бурча, отпустил «на полдня, раз уж баба в караване» — мыли.

Мыли лошадей.

Первой была серая южная кобыла. Возчики подвели её к котлам, обтёрли мокрой холстиной, потом намылили — щётками, мягкими, из конского волоса, которые Алиса купила тут же, на ярмарке, у торговца сбруей, за полторы марки, — сначала ноги, потом бока, потом спину, шею, круп. Кобыла сначала шарахалась, косила глазом, но вода была тёплая, щётки — мягкие, руки — осторожные, и через пять минут она стояла смирно, опустив голову, и, кажется, получала удовольствие. Потом — полоскание. Тёплой чистой водой, из ведра, сверху вниз. Потом — насухо, грубыми льняными полотенцами. Потом — гребень. Грива. Хвост.

Потом серая кобыла стояла у котлов — чистая, сухая, блестящая, светло-серая в яблоках, которых под грязью совсем не было видно, с длинной шелковистой гривой, падавшей на шею, как водопад. Стояла и встряхивала головой. Как красавица перед зеркалом.

Барышник смотрел на неё и молчал.

Вокруг собралась толпа. Барышники. Покупатели. Мальчишки. Коновалы. Кузнецы. Смотрели и молчали.

Потом дворянчик в потёртом бархате — тот самый, который ушёл, — протолкался сквозь толпу, подошёл к серой кобыле, наклонился, провёл рукой по чистой ноге, по бабке, по копыту. Выпрямился. Провёл рукой по спине. Заглянул в зубы.

— Сколько? — спросил он барышника.

— Десять, — сказал барышник, не моргнув глазом.

— Девять.

— Десять, господин. Посмотрите на ноги.

Дворянчик посмотрел на ноги.

— Десять, — сказал он и полез за кошельком.

Толпа взорвалась.

Алиса не сразу поняла, что произошло. Только что вокруг было тихо — и вдруг все заговорили разом, закричали, замахали руками, и кто-то тянул её за рукав, и кто-то совал ей в руку деньги, и кто-то кричал: «Мою! Мою следующую! Гнедого! Я первый!» — «Нет, я первый! У меня вороной! Вороной грязь лучше видно!» — «А у меня шесть! Шесть голов! Всех мыть!» — «Почём, госпожа? Почём за шесть?»

— Две марки за голову! — крикнула Алиса, перекрывая гвалт. — Очередь! В очередь! Гуннар!

— Очередь! — рявкнул Гуннар голосом, которым когда-то командовал атакой на перевале. И толпа — Алиса не поверила своим глазам — выстроилась. Неровно, толкаясь, ругаясь, но выстроилась.

Барышник с серьгой подошёл к Алисе. Сунул ей в руку две марки. Посмотрел на неё — долго, с уважением, без улыбки.

— Госпожа, — сказал он, — как вас зовут?

— Алиса. Лейн. Из Ворна.

— Алиса Лейн из Ворна, — повторил барышник, как будто запоминал. — Я — Мирча. Мирча Барту. Из-под Каррада. Двадцать лет вожу лошадей на север. Каждый год. Сюда, в Лисий Брод. В Хаммерталь. В Ворн. — Он помолчал. —

Двадцать лет я продавал серых за шесть. Потому что грязные. А сегодня продал за десять. — Он вдруг поклонился — низко, по-южному, прижав руку к сердцу. — Госпожа, если вам нужно будет что-нибудь — хоть что, хоть когда, хоть где — спросите Мирчу Барту. Меня на всех ярмарках знают. От Каррада до Ворна.

— Спасибо, господин Барту.

— Мирча, — сказал барышник. — Просто Мирча. — Он ухмыльнулся. — А мыло ваше — продадите? Не здесь. Мне. Ящик. Нет, два. На юге такого нет. На юге моют лошадей золой. Золой и песком. Лошади потом чешутся. А ваше — хвоей пахнет. Им понравилось.

— Продам, — сказала Алиса.

До темноты они вымыли сорок одну лошадь.

Сорок одну. Возчики Бреннера сменялись, падали с ног, ругались — и снова мыли. Алиса держала тепло над котлами, пока у неё не начали дрожать руки, а потом ещё немного, а потом Гуннар молча забрал у неё ведро, которое она держала, и усадил её на ящик с мылом, и сунул ей в руку кусок пирога. С капустой.

— Ешьте, — сказал он.

— Гуннар, ещё двенадцать лошадей.

— Подождут, — сказал Гуннар. — Ешьте.

Она ела. Сидела на ящике и ела пирог, и смотрела, как возчики Бреннера моют гнедого тяжеловоза — огромного,

как сарай, с мохнатыми ногами, которые, казалось, невозможно отмыть никогда, — и как тяжеловоз под щётками жмурится и вздыхает, и как его хозяин, кряжистый мужик в овчине, стоит рядом и смотрит на него с таким лицом, будто впервые увидел.

Сорок одна лошадь. Восемьдесят две марки. Четыре кроны и две марки.

И ещё два ящика «Северного лесного» Мирче Барту. И ещё ящик — коновалу, который сказал, что такое мыло хорошо для мокреца, а мокрец у лошадей — беда. И ещё полтора ящика — разным барышникам, которые хотели мыть сами, «по-северному».

Клом, сидевший в сундуке на телеге за её спиной, весь вечер считал. Вслух. Негромко, но непрерывно, как мельничное колесо: «Две марки... четыре... шесть... восемь...» Где-то на тридцатой лошади он сбился, обругал себя, начал заново. На сороковой — замолчал.

— Клом? — позвала Алиса.

— Хозяйка, — сказал Клом из сундука. Голос у него был странный. Сдавленный. — Хозяйка. Вы знаете, сколько?

— Знаю. Четыре кроны с лишним.

— Плюс мыло, — сказал Клом. — Четыре с половиной ящика. Это... это ещё три кроны. Семь. За один день. В Лисьем Броде. Где мыла никто не ждал. — Пауза. — Хозяйка. Это не учёт. Это... это...

— Что?

— Чудо, — сказал Клом почти шёпотом. И тут же, испуганно, своим обычным голосом: — Нет. Не чудо. Не записываю «чудо». Записываю: «Мытьё лошадей. Сорок одна голова». Чудес не бывает. Бывает — учёт.

Алиса засмеялась. Тихо, устало, счастливо.

Где-то за спиной, у телег, кто-то негромко сказал:

— Сорок одна.

Она обернулась.

Валериан стоял у её телеги, прислонившись плечом к борту. Без плаща — плащ лежал на седле его коня, привязанного тут же, у коновязи. В чёрной куртке. С синим дырявым шарфом на шее. Он стоял, видимо, давно — Алиса не заметила, когда он подошёл. Она вообще не видела его весь день. Думала — уехал куда-то. По своим государственным делам.

— Вы считали? — спросила она.

— Клом считал, — сказал Валериан. — Вслух. Я слушал.

— Долго?

— С двенадцатой.

Алиса посмотрела на него.

— Вы здесь стояли с двенадцатой лошади? Это же... это больше трёх часов.

— Я стоял не здесь, — сказал Валериан. — Я стоял у коновязи. Потом у кузницы. Потом у реки. — Пауза. — Отсюда лучше видно.

— Что видно?

Валериан помолчал.

— Как вы работаете, — сказал он.

Алиса не знала, что на это сказать. Она сидела на ящике с недоеденным пирогом в руке, в грязном коричневом чепце, с мокрым подолом, с красными от горячей воды руками, — и смотрела на него снизу вверх. А он смотрел на неё сверху вниз. Серыми, холодными, совершенно непроницаемыми глазами.

— Леди Лейн, — сказал он. — Вы знаете, что вы сейчас сделали?

— Вымыла сорок одну лошадь.

— Вы сделали так, — сказал Валериан медленно, — что сорок один человек продал лошадь на треть дороже. Что сорок один покупатель увидел, что покупает, и не был обманут. Что Мирча Барту из-под Каррада будет рассказывать о вас на всех ярмарках юга. Что коновал из Лисьего Брода будет лечить мокрец вашим мылом. Что каждый барышник, который сегодня это видел, на следующей ярмарке тоже захочет мыть своих лошадей. А мыло будет покупать у вас. — Пауза. — Вы за один день открыли новый рынок. В селе, где мыла никто не ждал.

— Я просто подумала, — сказала Алиса, — что лошадям, наверное, тоже приятно быть чистыми.

Валериан смотрел на неё ещё секунду. Потом — опять — левый угол рта.

— Наверное, — сказал он. — Мне вот — приятно.

Он отлепился от борта телеги. Подошёл к котлу — тому, с

тёплой чистой водой для полоскания. Снял перчатки. Опустил руки в воду. Подержал. Вынул. Вытер о куртку.

— Тёплая, — сказал он, как будто удивлялся.

— Я держу, — сказала Алиса.

— Знаю. — Он надел перчатки. — Три часа держите. Вы устали.

— Немного.

— Вы устали, — повторил он. Не вопросом. — Доешьте пирог. Остальных лошадей домоют без вас. Я скажу Бреннеру.

— Ваша светлость...

— Это не приказ опекуна, — сказал Валериан. — Это — совет. — Пауза. — Человека, который три часа смотрел.

И ушёл. К своему коню. Не оглядываясь.

Алиса доела пирог.

* * *

Тим вернулся, когда уже совсем стемнело.

Вернулся он тихий. Совсем не такой, каким убегал, — не сияющий, не восторженный. Тихий, задумчивый, с опущенной головой. Сел у костра рядом с Алисой — на тот же ящик с мылом, — и долго молчал, глядя в огонь.

— Тим, — сказала Алиса. — Что случилось?

Тим молчал.

— Тим.

— Я её нашёл, — сказал Тим.

Алиса не сразу поняла.

— Кого?

— Лошадь, — сказал Тим. — Мою. Ту самую. Я её нашёл.

Он поднял глаза от огня, и Алиса увидела, что они блестят. Не от слёз — от чего-то другого. От того самого света, который бывает у людей, нашедших своё.

— Рассказывай, — сказала она.

Тим рассказал.

Она стояла в дальнем загоне. У самой реки. Отдельно от других. Её продавал старый горский барышник — седой, однорукий, как Гуннар, только наоборот, без правой. Он пригнал с гор табун — маленьких горских лошадок, злых, лохматых, — а среди них — её. Трёхлетку. Кобылку. Рыжую. Не просто рыжую — огненно-рыжую, медную, как старый котёл, начищенный до блеска. С белой звёздочкой во лбу. С белым чулком на левой задней. С тонкими ногами — тоньше, чем у горских, длиннее, — потому что отец у неё был, как сказал барышник, «не наш, а южный, приблудный, жеребец одного каррадского посла, сбежал, пока посол гостил у нашего князя, и три месяца по горам гулял».

— Горская мать, — сказал Тим. — Южный отец. Понимаете? Горская — значит, выносливая. Значит, по любой дороге. По горам, по болотам, по снегу. А южная — значит, быстрая. Значит, красивая. Значит... — Он не нашёл слова. — Она на меня посмотрела. Я подошёл к загону, а она подошла ко мне. Сама. Через весь загон. И морду мне в руки положила. Сама. Леди, сама!

— Сама, — повторила Алиса.

— Барышник сказал, она никого к себе не подпускает. Злая. Кусается. Его самого за плечо прихватила. А ко мне — сама. — Тим помолчал. — Я с ней час стоял. Больше. Не мог уйти. Она не отпускала.

— А сколько она стоит? — спросила Алиса тихо, уже зная, что ответ будет плохой.

Тим опустил голову.

— Пять крон, — сказал он. — Барышник сказал — пять. Меньше не отдаст. Говорит — порода. Говорит — таких больше нет. Говорит — он её сам растил, три года, и абы кому не продаст.

Пять крон. У Тима не было ни одной. Бреннер обещал ему три — за всю дорогу, туда и обратно, по возвращении в Ворн.

— Я сказал барышнику, — продолжал Тим, глядя в огонь, — что у меня нет. Сейчас. Что я еду на юг, в Вейльбург, возчиком, и что на обратной дороге у меня будет три. А может, и больше. Если повезёт. А барышник сказал... — Тим запнулся. — Он сказал — подождёт. До обратной дороги. Если её никто раньше не купит. Сказал — он тут будет до мая, у него ещё табун, он его здесь продаёт по месяцу. Сказал — если я на обратной дороге приду, а она ещё здесь, и у меня будет три — он подумает. Может, за четыре отдаст. За три с половиной. Потому что... — Тим поднял на Алису глаза. — Потому что она сама ко мне подошла. Он сказал — это знак. Он

сказал — лошадь сама выбирает. Он сказал — грех лошадь продавать не тому, кого она выбрала.

Алиса молчала.

Она могла бы — прямо сейчас — дать ему пять крон. У неё были. Семь крон за один день — четыре с половиной ящика мыла и сорок одна лошадь. Она могла бы. Она хотела. Рука сама потянулась к карману, где лежал кожаный мешочек.

Тим смотрел на её руку.

— Нет, — сказал он. Тихо, но твёрдо. — Нет, леди. Не надо.

— Тим...

— Не надо, — повторил Тим. — Я сам. Я хочу сам. Понимаете? Это моя лошадь. Я её сам куплю. На свои. Которые сам заработаю. Иначе — какая же она моя? — Он помолчал. — Отец всегда говорил: подаренная лошадь — чужая лошадь. Своя — та, которую сам купил. Он хоть и пил, а это правильно говорил.

Алиса медленно убрала руку.

— Хорошо, — сказала она.

— Вы не обижайтесь, леди.

— Я не обижаюсь. — Алиса помолчала. — Тим. А имя ты ей придумал?

Тим вдруг улыбнулся. Широко, во всё веснушчатое лицо.

— Придумал, — сказал он. — Сразу. Как увидел. Она рыжая — как утро. Как когда солнце встаёт над Лиарой, зимой,

и снег весь рыжий. Я её Зарёй назвал. Заря. Подходит ей. Барышник сказал — подходит.

— Заря, — повторила Алиса. — Красиво.

— Красиво, — согласился Тим. Он снова посмотрел в огонь. — Леди. Вы на обратной дороге со мной сходите? К загону? Посмотреть? Чтоб видели, какая.

— Схожу, — сказала Алиса.

— Обещаете?

— Обещаю.

Тим кивнул. Удовлетворённо. И вдруг зевнул — во весь рот, по-детски.

— Пойду спать, — сказал он. — Завтра рано. — Встал. Потянулся. — Леди. А правда, вы сегодня сорок одну лошадь вымыли? Мне возчики сказали.

— Правда.

— Вот это да, — сказал Тим. — А я пропустил. — Он почесал вихор. — Ну ничего. Я на обратной дороге Зарю вымою. Вашим мылом. Чтоб блестела.

Он ушёл к телегам. Алиса слышала, как он, укладываясь, что-то тихо напевает себе под нос. Без слов.

Она достала дневник. Написала при свете костра:

«Верста шестьдесят первая. Лисий Брод. Сорок одна лошадь. Семь крон. Мирча Барту из-под Каррада — друг. Коновал — мыло от мокреца.

Тим нашёл свою лошадь. Рыжая трёхлетка. Звёздочка во лбу, белый чулок на левой задней. Горская мать, южный

отец. Зовут Заря. Стоит пять крон. Ждёт его до мая. Обещала сходить с ним на обратной дороге».

Подумала. Подчеркнула последнюю строчку.

Феб сидел на краю ярмарочной площади, у почтовой избы, и писал письмо.

Почтовой избой в Лисьем Броде называлась маленькая бревенчатая будка у брода, где сидел старый, полуглухой почтарь и принимал письма для отправки с попутными обозами — на север, на юг, на восток, на запад. Брал по грошу за письмо, записывал в толстую книгу, кому и куда, складывал в мешки. Раз в неделю, а то и чаще, мешки уезжали.

Алиса пришла туда отправить письмо Матильде. Длинное, на четыре листа, о мосте, о «Хромом гусе», о сорока одной лошади. И ещё — короткое, на полстраницы, — Олдосу: о том, что песок она ещё не видела, но линзу держит в сундуке, на верхней полке, рядом с портретом Грантхольма. И ещё одно, совсем маленькое, — Берте в Грантхольм, с одной-единственной просьбой: «Берта, когда в мае зацветёт яблоня под восточным крылом — посмотрите, прилетает ли туда дрозд. И напишите мне. Это важно. Очень».

Феб стоял у окошка почтаря, когда она подошла. Протягивал свёрток — небольшой, запечатанный — и монету. Монета блеснула в свете фонаря. Серебряная.

— На юг, — говорил Феб. — В Вейльбург. Срочно. С первым, какой пойдёт.

— Срочно — это марка, — проворчал почтарь. — Не грош. Марка. Серебром.

— Вот марка, — сказал Феб.

Он обернулся — и увидел Алису. И улыбнулся. С ямочками.

— Леди! Тоже письма? Домой?

— Домой. В Ворн. А вы, Феб?

— Сестре, — сказал Феб. — Сестра у меня в Вейльбурге. Замужем. Давно не виделись. Пишу — еду, мол, жди, пирогов напеки. — Он засмеялся. — Пусть знает.

— Срочно?

Феб чуть замялся. На мгновение — Алиса потом вспоминала это мгновение много раз — его улыбка словно примёрзла к лицу.

— Да она, знаете, беременная, — сказал он. — На сносях. Волнуется. Пусть узнает пораньше. Сёстры — они такие.

— Понимаю, — сказала Алиса. — Поздравляю.

— Спасибо, леди. — Феб поклонился. — Спокойной ночи.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.